

Г. ГАПОН

ИСТОРИЯ
МОЕЙ ЖИЗНИ

БЕРЛИНСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. ГАПОН

ИСТОРИЯ
МОЕЙ ЖИЗНИ

БЕРЛИНСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

1925

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדשטיין - ספריה
מס. מלאי.....
72978/1

עיריית חיפה / מינהל החת"ד
אוף לתרבות השכלה ואמנות מסח' לפפריות
הספריה הצבורית ע"ש ש. פבונר
מס' _____
72978/1

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пораженный великан — аллегория

Я видел сон: свора свирепых собак, различных пород и размеров, беспощадно терзала неподвижное тело великана, лежавшее в грязи, в то время как псарь стоял и наблюдал за ними, патравливая их. Собаки впивались зубами в тело великана; его нищенская одежда была уже разорвана в клочки; с каждой минутой собаки все теснее обступали его, они уже почти лизали его кровь. Стая воронов кружилась над ним, спускаясь все ниже и ниже, в ожидании добычи.

Вдруг свершилось чудо: каждая капля крови, сочившейся из тела великана, превращалась в орлов и соколов, взвивавшихся в высь, чтобы защитить великана и криком своим побудить его собраться с последними силами и отразить врагов.

Долго лежал великан в оцепенении, но, наконец, застонал, приоткрыл в полусне глаза и стал прислушиваться, еще не сознавая ясно, что происходит с ним, но недовольный тем, что крик птиц мешал ему спать и звал его на смертный бой с собаками и воронами, на бой беспощадный, но далеко не равный... Великан не понимал даже, кто его друзья и кто враги.

Наконец, он очулся, расправил свои члены, встал во весь свой богатырский рост и с пустыми руками, в лохмотьях, встал перед собаками и царем.

Царь свистнул и появилось новое лицо — хорошо вооруженный и вымуштрованный солдат и по команде выстрелил в широкую беззащитную фигуру великана, затем, по второй команде, он бросился на него. Великан, серьезно раненый, зашатался, но схватил оружие и отбросил его. Затем взор великана затуманился, и грудь его задрожала. Подавленный горем, он закрыл лицо руками и стоял, как олицетворение страдания: в солдате он узнал своего сына, плоть от его плоти, кровь от его крови, обманутого, обмороченного и вовлеченного в отцеубийство.

Молчание длилось недолго; великан вспомнил, что у него есть другой сын — скромный, но честный землероб, тот не оскорбит отца. Но где же он? Почему он не пришел защитить своего отца? Великан, оглядываясь, искал его и увидел в отдалении своего сына — дюжего добродушного парня, прекрасного в своей простоте, но прикованного к своему плугу, грязного и оборванного, как и его отец, темного и голодного и, как раб, работающего на господина; он не поможет ему — во всяком случае, не в настоящую минуту. Снова задрожала грудь великана, и жгучие слезы, подобно алмазам, потекли по его широкому, скорбному лицу. Я взглянул в лицо и на фигуру великана; тело его говорило о его громадной силе и одновременно о его беспомощности; красота его была скрыта под слоем грязи; в членах его, созданных для великих дел, не было нервов, убитых вечным гнетом и презрением. Я взглянул на струйку крови у его ног и на голодную свору, стоявшую вокруг с оскаленными острыми зубами, взглянул и на трусливого пса; увидел все это, и сердце мое облилось кровью. В великане я узнал мою дорогую родину и ее народ. И чувство нестерпимой муки, подобно змее, ста-

мо закрадываться в мою душу, обвило ее, сжало стальными кольцами; я не мог больше выносить этой муки и проснулся.

Увы, мне не стало легче; мой сон не был кошмаром, он был реальной действительностью. И, в самом деле, разве моя родина, эта страна с ее громадными реками, непроходимыми дремучими лесами, зелеными степями, весной прекрасными, как улыбка младенца, и столь же необъятными, как душа моего народа, с ее неисчерпаемыми богатствами, разве ее веками не расхищала кучка жадных, от мала до велика, чиновников? Разве мой народ, из которого вышли Толстой, Достоевский, Верещагин, Антокольский, столько ученых, философов, идеалистов, которые всю жизнь отдали служению человечеству и идее, разве его не обманывали, не угнетали жестокие, корыстные правители? Разве наш народ, имеющий такой богатый язык и такой великодушный, национальный характер, не был лишен света просвещения нашим темным и алчным духовенством, подобно тому как стая ворон заслоняет свет солнца? Разве сыны народа не были натравлены на тысячи мужчин, и женщин, и детей, которые, в своей наивной вере в доброту царя, пришли к нему с просьбой о помощи?

Да, все это была правда, сама действительность; но в картине была и другая сторона: петербургская стачка и события в январе были молнией, озарившей темноту русской жизни. Долгие страдания России не прошли для нее даром — они собрали запасы электричества в нравственной атмосфере нации, так что, когда произошла стачка, достаточно было одной искры, чтобы зажечь весь этот горюгий материал. Как после грозы дождь поит землю, так и страшные события, о которых я буду говорить, имели свои благодетельные последствия. Была пролита кровь, и эта кровь, подобно теплomu дождю, упала на замерзшую почву русской жизни. Провидение избрало меня

орудием в развитии этих событий. Но, чтобы быть этим орудием, необходимы были сведения и опытность, и каким образом я их приобрел, лучше всего будет объяснить, рассказав мою жизнь. Я только один из многих, — и другой, как и я, мог явиться в данный момент и при данных обстоятельствах; но так как это был я, ни кто другой, то, понятно, что люди хотят сведений от меня; вот почему я и решил рассказать о моей жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мой родной дом

Начну с характеристики моих родителей, которым я столь многим обязан. Отец и мать мои были простые крестьяне из села Беляки, Полтавской губернии; отцу, приблизительно, 70 лет, а матери около 60-ти.

Все свое образование отец мой получил от пономаря, познания которого были весьма ограничены, но это не мешало отцу моему иметь массу сведений обо всем, что касалось крестьянской жизни, и простой и определенный взгляд на вещи. Это человек исключительной и педантичной честности, необыкновенно ровного характера, добрый и приветливый ко всякому и неспособный убить даже мухи. Его уважает и любит вся округа и никогда не называет по имени только, а прибавляет и отчество — Аполлон Федорович.

Тридцать пять лет под ряд его выбирали волостным писарем... Место это доходное, но отец мой никогда не брал взятки ни деньгами, ни натурой и, окончив службу, оказался беднее, чем был раньше. Вопреки крестьянскому обыкновению, отец никогда не бил детей. Из его разговоров я узнал о всех несправедливостях, сделанных вла-

стью по отношению крестьян, узнал о том, как каждый вершок Украины, теперь отданный правительством разным туеядцам, был полит кровью казаков, сражавшихся за свободу и народное благо и служивших оплотом западному христианству против турок и татар с Востока. Как-то случилось, что, когда мы все сидели на призде и проезжал богатый помещик, отец, смеясь, указал мне на него и сказал: «смотри, как он гордо глядит, а ведь его коляска и все, что он имеет, досталось ему нашим трудом». Менее снисходительный, чем отец, я бросил камень вслед проезжающей коляске.

От отца я узнал, как унижительно положение крестьян в земстве. В действительности, они не имеют голоса в земских делах, так как, при всяком неприятном заявлении с их стороны, *немедля* находят предлог засадить их в холодную. Помню, что, когда мне было 12 или 13 лет, я пошел однажды в волость повидать отца. Он сидел в волостном садике со старшиной и его ближайшими помощниками. Выбирали гласных от 10-тысячного населения и разговаривали о том, как было в прежние времена и как теперь. «В прежние времена, — говорил один из них, — власть чиновников была так велика, что, чтобы доказать, что они могут делать с выборными от крестьян все, что они захотят, они заставляли старшин становиться перед всей деревней на четвереньки и лаять по собачьи». В то время, как рассказывавший это выражал удовольствие, что эти времена прошли, послышался звук колокольчика, и старшину и его собеседников охватил страх при мысли, что это едет чиновник, который их всех арестует. Старшина направился в волостную избу, а его собеседники пошли за ним, крадучись за кустами. Наивно я спросил отца, почему же он не уходит, и на мой вопрос он ответил добродушной улыбкой. В другой раз помню, я узнал от отца, что одного из крестьян нашей деревни будут сечь.

Наказание это считалось таким унижительным, что бывали случаи, когда наказуемый предпочитал кончить самоубийством. Для меня, которого даже дома никогда не секли, весть эта была особенно ужасна, и хотя отец и успокаивал меня, что выборных не секут, но я не мог спать от мысли, что и отца моего могут когда-нибудь высечь.

Несмотря на разницу в возрасте, отец относился ко мне как к другу, никогда не был суров и даже не проявлял снисходительности старшего к младшему. Вот одна из причин, почему, несмотря на долгие годы труда и горя, я чту мои воспоминания о нем. Что с ним теперь, я не знаю. Может быть, полиция его схватила, или он каким-либо другим образом пострадал благодаря мне. Когда я думаю о нем, я вижу его среди лесов и полей моей родины, вижу состарившимся, с потухшими глазами и вспоминаю его надежды, что я, как старший сын, буду ему опорой и что я закрою ему глаза; я не стыжусь признаться, что меня охватывает невыразимое волнение.

Таково было на меня влияние отца; что касается моей матери, то ей я обязан больше всего моими религиозными взглядами. Сама она была безграмотна, но отец ее умел читать и, как человек чрезвычайно религиозный, большую часть времени проводил за чтением житий святых. Дед часто рассказывал мне о прочитанном, и это оказывало такое влияние на мое воображение, что, будучи 7-ми или 8-летним мальчиком, я часами простаивал перед иконами и, обливаясь слезами, молился о своих воображаемых грехах. Некоторые же рассказы деда производили совсем другое впечатление. Помню, как меня поразил случай из жизни св. Иоанна, епископа новгородского, когда он усердно молился, а злой дух, всеми способами стараясь смутить его, прыгнул в чан с водою, стоявший в келье, а святой муж поспешил перекрестить чан и тем закабалил чорта. Чорт взмолился, чтобы его выпустили и обещал

сделать все, что пожелает св. Иоанн. Епископ пожелал быть немедленно перенесенным в Иерусалим, и в ту же ночь они с'ездили туда и обратно, и святой освободил чорта.

Рассказ этот произвел на меня большое впечатление: я заплакал, но в то же время желал, чтобы и мне представился такой же случай поймать чорта. Дух религии, несмотря на фантастичность тех форм, в которых он мне являлся, имел на меня сильное и хорошее влияние. Жизнь святых и анахоретов производила на меня глубокое впечатление, и я мечтал о том дне, когда и моя жизнь станет такою же. Мать моя усердно поддерживала это во мне, потому что верила, что ее собственное освобождение от мучений ада зависит от того, спасет ли она нас. Как бы я ни был голоден, придя домой, никогда бы я не решился взять что-нибудь без спросу, хотя бы даже никого не было в комнате; но в углу висел образ спасителя, глаза которого, казалось, всюду следили за мной. Ни за что на свете не взял бы я в пятницу молока в рот из боязни, что у меня вырастет рог на лбу. Моя мать была строгая женщина, и, как бы холодна ни была погода, как бы скучна ни была наша одежда, мы должны были ходить в церковь и петь на клиросе, хотя бы зуб на зуб не попадал от холода.

Наступило, однако, время, когда я восстал против деспотизма моей матери. Однажды, когда река вышла из берегов, я нарочно бросился в воду, чтобы не идти в церковь. Несомненно, что религиозность моей матери была искренняя, но это не мешало ей во время семейной молитвы замечать все, что происходит вокруг, и если в это время свинья заходила в огород, она бросала моливу и бежала за ней. Иногда ей хотелось послушать жития святых, и так как я один умел читать, то и должен был долгие часы проводить за этой драгоценной и святой книгой. Однажды я забыл, что была пятница, и меня поймали, как я поедал

хлеб с молоком. После того, как мать наказала меня, в моем детском мозгу невольно зародилась мысль о противоречии между формой и содержанием религии. Несомненно, что певчие пели громко и хорошо, несомненно также, что это было необходимо для спасения души, а все-таки это не мешало им в промежутках болтать и шалить. Неужели же действительно богу было угодно, чтобы меня высекли?

Мать моя была истинно добрая женщина. Будучи сама только бедной крестьянкой, она часто помогала другим, еще более бедным; а в нашей округе было много таких, у которых не только не было земли, но которые в отношении крова и пищи всецело зависели от щедрот своих соседей. Мать помогала им больше, чем позволяло наше скудное хозяйство. Мать казалась мне добрым созданием, запутавшимся, как птица, в тенетах религиозного формализма.

Эти два противоположные влияния на меня отца и матери смячались и получали поэтическую окраску от окружающей природы, заслужившей Украине название «Русской Италии». В долгие осенние вечера, когда нас, детей, посылали спать и мы укладывались кучей на полу под самодельным войлочным одеялом, женщины садились за пряжу, при чем пели песни или рассказывали былины. Мать моя знала много народных песен и хорошо пела их. Подолгу вслушивался я в их печальный, но чудный напев и в простые слова, описывающие или горе девушки, оставленной любовником казаком, ушедшим на войну, или исторические подвиги какого-нибудь народного героя прежних времен, или, наконец, предание об одном из моих предков, Галоне - Быдаке.

Деревня Беяки раскинулась по обоим берегам Ворсклы и известна как район многих сражений с татарами в те далекие времена, когда стремление России на юг и восток только что начиналось. Холмы вокруг деревни покрыты

лесом из тополей, дубов и других деревьев. Наслушавшись рассказов о казацких подвигах, я воображал себе, что и теперь лес полон казацких дружин. Темно-синий свод украинского неба, осыпанный звездами, способствовал развитию моих фантазий.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я становлюсь священником

Возвращаясь к прозе моей будничной жизни, я снова вижу себя мальчиком босоногим, простоволосым, помогающим, или, вернее, вынужденным помогать, трудящейся семье, в качестве пастуха нескольких овец или свиней, а иногда даже целого стада телят. В особенности я любил своих гусей — не только потому, что интересно было наблюдать, как маленькие, желтенькие комочки превращались в белых птиц, но, главное, потому, что я выдрессировал гусака, который мог побить любого деревенского гусака.

С семи лет я стал посещать начальную школу и делал такие успехи, что священник сказал моим родителям, что я должен продолжать учение. Но как и зачем? К какой карьере мне готовиться? Два обстоятельства решили этот вопрос. Первое — это поговорка: «поп — золотой сноп», второе — то, что если я сделаюсь священником, то не только попаду на небо, но и всем своим помогу попасть туда. Итак, решено было отправить меня в Полтавское духовное училище. Мне предстояло четыре года учения, но так как я сдал хорошо вступительный экзамен, то мне разрешили поступить прямо во второй класс. В крестьянской одежде и с мужицкими манерами, я вначале чувствовал себя там чужаком, так как все ученики были сыновьями

священников, или дьяконов и смотрели на меня свысока, как на неравного. Свою силу они выказывали обычным мальчишеским способом, но я был еще слишком застенчив, чтобы отвечать им тем же. Когда я стал делать быстрые успехи, враждебность их стала выказываться еще яснее. Но когда мне представился случай отплатить им их же монетой, то отношения установились сносные, хотя первые годы я все же был почти одиноким.

Когда мне было 15 лет и я был в последнем классе училища, один из учителей, Трегубов, дал мне прочесть некоторые сочинения Толстого, которые оказали громадное влияние на мое мышление. В первый раз мне стало ясно, что суть религии не во внешних формах, а в духе, не в обрядностях, а в любви к ближнему. Я пользовался каждым случаем, чтобы высказывать эти новые для меня идеи, в особенности у себя в деревне во время праздничных вакаций.

Боюсь, что моя умственная незрелость высказывалась и в менее серьезных вещах, чем богословские прения. Наш школьный двор был отделен от архиерейского сада высоким забором; мы, школьники, проделывали в нем отверстие и опустошали сад в те часы, когда весь дом спал. Иногда нас ловили садовники, и тогда мы силой прокладывали себе дорогу, стараясь быть неузнанными. Об этом периоде моей юности я вспоминаю со стыдом. Вскоре я стал лицом к лицу с серьезными явлениями жизни. Смерть моей младшей сестры разграничила мое детство от зрелого возраста. Мне было 16 лет, а ей только 11. Эту малютку, с ее золотистыми волосами, я очень любил и охотно часами играл с нею в поле.

Когда я поступил в семинарию, то и там, под влиянием одного толстовца — Фейермана, я продолжал открыто поприцать окружающее меня лицемерие, пока один из священников и один из наставников не донесли на меня се-

минарскому начальству, что я развращаю товарищей, насаждая семена ереси. В результате последовала угроза лишить меня правительственной стипендии, на что я ответил, что и сам не желаю ее получать. Чтобы содержать себя, я стал давать уроки в богатых соседних домах и у местного духовенства. Иногда мне приходилось жить летом в домах моих учеников, и это дало мне случай познакомиться с внутренней стороной жизни русского духовенства. Я видел священников, приносящих святыне дары в нетрезвом виде, и это, как и еще многое другое, убедило меня, что среди них много фарисеев. Они не только не поступались своими удобствами ради блага народного, но часто уподоблялись пьявкам для своих прихожан. Кругом была нищета, болезни, гнет: на 20 верст в округе был всего один врач, а в нашем селе был только фельдшер. С другой стороны, я все яснее видел противоречие между евангельским учением и обрядностями и догматами церкви. По мере того, как я вникал в эти мысли, все большее и большее отвращение овладевало мною. Целый год переживал я эту душевную муку, пока не заболел тифом и воспалением мозга. Я болел долго, и когда отец приехал навестить меня в лазарете, то сначала не узнал меня.

По мере того как восстанавливалось мое здоровье, во мне все более зрело убеждение, что я не могу быть священником. В виду этого я стал менее посещать лекции в семинарии и все свое свободное время посвящал босякам и больным в окрестностях, помогал им как мог и говорил с ними об их жизни. Семинарское начальство, хотя, повидимому, и не препятствовало моему образу жизни, но готовило мне наказание. Когда, по окончании семинарии, возник вопрос о моем поступлении в духовную академию, я сказал, что предпочитаю поступить в университет, но когда я получил свой аттестат, то увидел, что поведение мое аттестовано так дурно, что о поступлении в универси-

тет нечего было и думать. Этим способом в России клеймят «козлищ», чтобы в зародыше погасить те независимые умы, которые впоследствии создают так называемые «университетские беспорядки» и сеют смуту.

Для меня это было равносильно гибели всей моей карьеры и всего, что привлекало меня в жизни. Этот удар ошеломил меня; и когда я обсудил все, что произошло — в мозгу моем зародилась мысль о мщении, но, к счастью, в город приехал мой отец, и его доброе лицо, те страдания, что он вынес, смягчили мое сердце. Некоторое время я жил уроками и занятиями статистикой в земстве; занятия эти еще больше подтвердили мои сведения о бедноте крестьян. Теперь я увидел бедноту эту в цифрах и данных, собранных с больших площадей, чем доступно частным наблюдениям, и это еще более укрепило во мне желание посвятить свою жизнь служению рабочему классу и, первым делом, крестьянам.

Мне казалось, что будь у меня свидетельство, открывающее мне двери в университет, или если бы можно было сдать экзамен, минуя справку о моем пребывании в семинарии, я поступил бы на медицинский факультет, окончив который, я вернулся бы к крестьянам доктором, чтобы врачевать их души и тела. Мой умственный кругозор значительно расширился под влиянием всего, что я слышал и читал о революционерах. Из запрещенной литературы, впервые попавшей мне в руки, а также из рассказов о тех ужасах, которые творятся в некоторых тюрьмах, я узнал, что давно уже в России есть люди независимого ума, которые все свои способности, все благосостояние и даже жизнь отдавали на служение народу. Несмотря на скудость сведений об этом просвещенном и самоотверженном меньшинстве, я уже уважал его.

Пока я лелеял свои мечты, случились обстоятельства, изменившие все мои планы и все мое будущее. Дочь од-

ного из состоятельных полтавцев, в доме которого я давал уроки, была дружна с одной хохлушкой, дочерью местного купца. Она окончила гимназию, была очень умна от природы, красива, мила, хорошо воспитана. Я сразу обратил на нее внимание, и постепенно мы сходились все ближе и ближе на почве взаимных занятий и желания служить народу. Она кое-что знала и о революционных идеалах, но это не мешало ей быть религиозной. Я часто разговаривал с нею, и, когда она узнала о моих планах на будущее, она высказала свое мнение, что положение священника далеко лучше положения доктора для осуществления тех целей, которые были мне так дороги. «Доктор, — говорила она, — лечит тело, а священник, если он достойно носит это звание, укрепляет душу, а в последнем люди нуждаются гораздо больше, чем в первом». Когда я возразил ей, что мои принципы противоречат учению православной церкви, она ответила, что этого мало, т. к. главное дело — это быть верным не православной церкви, а Христу, который есть идеал служения человечеству; что касается догматов и обрядностей, то они и останутся только догматами и обрядами.

Это убедило меня, и я решил сделаться священником, и она решила выйти за меня замуж, но осуществить этот брак было далеко не легко. Однажды я попросил позволения у ее родителей прийти к ним, но мать ее высказала такое недоброжелательство ко мне, что просила меня больше вовсе не бывать. Моя невеста сказала тогда своим родителям, что лучше бы они дали свое согласие, т. к. она не примирится с их отказом. Я же тем временем пришел к епископу Илариону, рассказал свою сердечную тайну, свое намерение сделаться священником и желание получить приход, если возможно, у себя на родине. Архирей, всегда относившийся ко мне доброжелательно, и на этот раз был весьма добр. Он призвал к себе мать моей не-

рили с ним о естестве Христа. Вы заражены новыми идеями, а нашей церкви такие люди не нужны. Должен признаться, что мое сердце полно недоумения при мысли о вашем поступлении в академию...»

Этот разговор меня сильно обескуражил, и я решил немедленно повидать Победоносцева. Я поехал в Царское Село, где в это время жил Победоносцев в царском дворце. Со мною вместе в вагоне ехал один очень почтенного вида господин, с которым я познакомился. Как оказалось, это был чиновник при Победоносцеве, который, узнав, что я из Полтавы, отнесся ко мне особенно внимательно. Он был как-то с Победоносцевым в Полтаве и с удовольствием вспоминал о кухне епископа Илариона. Он рассказал мне, что Победоносцев часто бывает в дворцовой церкви и гуляет в дворцовом саду с молитвенником в руках, шепча молитвы, и при этом сказал, что едва ли мне удастся сегодня увидеть Победоносцева, так как он не принимает духовенства в своей летней резиденции и сегодня обедает у царя по случаю приезда болгарского князя (Бориса). Тем не менее мой спутник обещал мне попытаться устроить мое свидание с Победоносцевым, который, в общем, относится очень презрительно к духовенству, но, может быть, сделает исключение для меня, как рекомендованного преосвященным Иларионом, к которому он особенно расположен. Когда мы приехали в Царское Село, чиновник сдержал свое обещание, и меня допустили в приемную Победоносцева.

Здесь я должен был ожидать человека, который имел власть разбить все мои надежды, уничтожить все мои планы. При этом я невольно задумался о печальной судьбе русской церкви, всецело зависевшей от одного человека, человека светского и правительственного чиновника. Русская церковь не автономна. Святейший Синод, управляемый обер-прокурором, состоит из епископов, которые,

принадлежа к черному духовенству, неизбежно далеки от знакомства с народною жизнью и ее нуждами. Каждый епископ — полновластный хозяин в своей епархии. Он назначает священников, никем не обязанный сообразоваться с нравственными и умственными качествами кандидатов. Если ему угодно, он может возвести в сан священника кого захочет, он может уволить и наказать любого священника своей епархии, не оставляя ему права обжаловать это решение. Если же священник рискнет пожаловаться на епископа синоду, тот немедленно препроводит жалобу епископу на его личное усмотрение. Священники же — полные хозяева церковных дел и имуществ в своих приходах, так как прихожане не имеют голоса. В силу этого церковь лишена жизненности и превращена в религиозно-бюрократический департамент под управлением Победоносцева.

— Что вам угодно? — внезапно раздался сзади меня голос.

Я оглянулся и увидел «великого инквизитора», подкрадывавшегося ко мне через потайную дверь, замаскированную занавескою. Он был среднего роста, тощий, слегка сгорбленный и одет в черный сюртук.

— Я пришел к вашему превосходительству просить разрешения держать конкурсный экзамен в академию, — сказал я.

Победоносцев пытливо посмотрел на меня.

— Кто ваш отец? Вы женаты? Есть у вас дети? — Вопросы сыпались на меня, при чем голос его звучал резко и сухо.

Я ответил, что у меня двое детей.

— А, — воскликнул он, — мне это не нравится; какой из вас будет монах, когда у вас дети? Плохой монах, я ничего не могу для вас сделать, — сказал он и быстро отошел от меня. Его манера говорить, мысль, что все

весты и сказал, что знает меня и будет покровительствовать мне, когда я буду священником. Это решило дело; мы женились, и, год спустя, я был рукоположен в священники, пробыв предварительно дьячком, а затем один день дьяконом. Архирей сказал, что ему нужны такие люди, как я, и не захотел отпустить меня в деревню.

Итак, я остался в Полтаве священником кладбищенской церкви и все это время моего священничества я был чрезвычайно счастлив — не только потому, что в жене своей я нашел верного друга и сотрудника, но и потому, что мне нравилось мое положение духовного наставника. Мне казалось, что все эти угнетенные судьбою бедняки, не находящие ни в чем отрады, найдут себе утешение в моих проповедях и в моей искренней вере. Во время принесения св. даров на литургии, когда меня охватывало сознание истинного значения жертвы, принесенной Христом, мной овладевал священный восторг, но при этом неизбежно была меня по нервам церковная рутинка. Этот звон денег при покупке свечей и сборе с тарелками расстраивал меня, да и дьякон мой был истинным бичом для меня. Бывший фельдшер, он принял духовное звание только из алчности, т. к. сам не верил даже в бессмертие души. Чрезвычайно большого роста и глупого вида, с хриплым голосом, грязными сапогами и одеянием, доходившим только до колен, он был прямо неприличен. На прихожан он смотрел только как на доходную статью, и, в конце-концов, алчность его стала так откровенна и нагла, что я, хотя и не имел на это права, но запретил ему всякое участие в богослужении.

Я проповедывал откровенно, что не обрядности и не приношения, а добрая жизнь и любовь к ближнему существенны для человека. Мало-по-малу народ стал ко мне собираться, и, хотя кладбищенская церковь, и не имела прихода, но молящихся приходило столько, что церковь не

могла всех вместить. Архирей продолжал относиться ко мне доброжелательно, но зато второй священник стал завидовать мне. Я не обращал на это внимания и хлопотал об образовании кружка доброхотных жертвователей для оказания помощи бедным. Это, в свою очередь, породило зависть окрестных священников, распутивших слух, что я отбиваю от них прихожан. Свою жизнь и поступки я старался согласовать с тем, что я говорил в своих проповедях; на свое призвание я смотрел не как на способ наживаться и довольствоваться тем, что мне давали, и этого одного, не говоря о других причинах, было достаточно, чтобы привлечь ко мне народ. По мере того, как росла моя репутация, росла и зависть соседнего духовенства. Их жалобы побудили духовную консисторию оштрафовать меня за то, что, не имея прихода, я исполнял требы за тех, кто их имел. Но я все-таки продолжал это делать. Что же тут было дурного? Однажды ко мне пришел старик и просил меня отслужить панихиду по его умершей жене. Будучи уже раз оштрафован за это, я стал осторожнее и спросил старика, к какому он принадлежит приходу и почему он не обращается к своему священнику. Он ответил, что священник потребовал с него за это 7 р., а он не может их заплатить. На мой вопрос, почему так много, он объяснил, что за похороны жены он заплатил только 3 руб., священник остался этим недоволен и теперь требует заплатить ему за оба раза. Кроме того старик сказал, что он слышал мои проповеди и его более влечет ко мне, чем к своему приходскому священнику, и, упав на колени, он просил меня пойти с ним. Как же я мог отказаться? После панихиды обыкновенно бывает поминальный обед, и когда я сел на конце стола и стал говорить собравшимся на разные религиозные и нравственные темы, внезапно растворилась дверь и в комнату ворвался приходский священник, пьяный, растрепанный, небрежно одетый, и набросился на

меня с бранью и упреками, что я краду у него его хлеб. Присутствующие были так возмущены, что только благодаря моему вмешательству дело не окончилось для него плохо. И снова я был оштрафован.

Женат я был 4 года, а священником был два года. У нас было двое детей — девочка и мальчик. После рождения мальчика, жена моя серьезно заболела. Она не хотела умирать. Как женщина религиозная, верящая в милосердие и всемогущество Бога, она молилась о сохранении ей жизни, не желая расстаться с дорогими ей существами. Но жизнь ее все гасла и гасла, и она умерла на моих руках.

И прежде и теперь я верю в бессмертие души, но со смертью моей жены и сопровождавшего эту страшную потерю периода угнетенности, я пережил нечто, что пополнило мои прежние верования. Так, например, за месяц до своей кончины, жена моя видела, или ей казалось, что она видела сон, как ее хоронят. Проснувшись, она немедленно рассказала мне все подробно, кто что говорил, кто служил, как я себя вел, и буквально все сбылось. Затем однажды, заработавшись до часу ночи, я прилег и думаю, что не спал. Вдруг я вижу, что моя покойная жена входит в комнату, наклоняется ко мне, как бы намереваясь поцеловать меня. Я вскочил, сбросил одеяло и в это время увидел в конце коридора тень. Я бросился туда и увидел, что горит занавеска в соседней комнате. Очевидно, вследствие небрежности прислуги, лопнула лампадка перед образами и зажгла занавеску. Стояло лето, дом был деревянный, и, если бы я не пришел во - время, случилось бы большое несчастье. Затем я видел сон, что меня преследует и хватает кто - то, и этот кто - то, как я чувствовал, была моя судьба. С тех пор я поверил в предопределение и некоторую связь между живыми и умершими.

После смерти моей жены мне казалось, что все светлое отлетело из моей священнической жизни. Несомненно,

что близость могилы моей жены, которую я постоянно посещал, действовала на меня подавляюще. Я был так удручен, что стал опасаться за свои мозги. Мне представлялся случай переменить место и, может быть, начать новую жизнь, но я решил сделать попытку поступить в духовную академию в Петербурге. Я сообщил о своем намерении архиерею, и тот одобрил меня и сделал все, что мог, чтобы помочь мне. Затруднение заключалось в том, что поступающие должны иметь отличный аттестат о поведении в семинарии. Снова всплыло клеймо, наложенное на меня семинарским начальством, но архиерей написал через Победоносцева письмо в комитет Святейш. Синода, прося, чтобы меня допустили к экзамену без представления аттестата о поведении из семинарии, при чем прибавил, что два года знакомства с моей деятельностью убедили его, что я заслуживаю их милостивого внимания.

Мне оставалось только два месяца подготовиться к экзаменам, и затем я поехал в Петербург.

О том, как я виделся с Победоносцевым и его помощником Саблером, о том, как я поступил в академию, мечтая попасть в самое святилище науки, и что из этого вышло, я расскажу в следующих главах.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Крайности встречаются в Петербурге

Я поехал в Петербург, чтобы поступить в академию, но по дороге туда, я заехал в Сергия - Троицкую лавру, знаменитый монастырь, куда ежегодно стекаются сотни тысяч богомольцев со всех концов России и где покоятся мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. Я это сделал по просьбе епископа Илариона, кото-

рый желал, чтобы я поклонился мощам св. Сергия. В то время я уже не верил в нетленность тел святых мужей, но, тем не менее, я чувствовал благоговейное побуждение преклонить колена перед святым, жизнь которого представлялась мне идеалом, к которому я стремился всем сердцем. Преподобный Сергий жил всегда согласно тому, как он проповедывал. Он не был из числа тех святых, которые удаляются в пустыни и боятся соприкосновения с греховным миром. Он проповедывал любовь к ближнему, и сам любил его и, отдавая ближнему все, что имел, сам жил очень скудно. Он проповедывал прощение, сам прощая. Несмотря на свою святость, он был большой патриот, и за это я еще больше любил его. Когда Дмитрий Донской шел на битву с татарами, чтобы освободить страну от татарского ига, он благословил его и дал ему в помощь двух иноков, которые оказались храбрейшими воинами того времени.

Когда я под'езжал к монастырю, торжественно звонил колокол, величайший в России, наполняя воздух и потрясая, как мне казалось, даже землю божественным призывом. Я вошел в церковь с чувством любви и благоговения к месту покоя св. Сергия — этого проповедника любви и смирения. Я спешил к раке преклониться перед нею, как вдруг в церковь вошел московский митрополит Владимир в сопровождении целой свиты архимандритов и монахов низших рангов. Сам он выглядел просто, но вид жирных и упитанных монахов и духовных лиц неприятно поразил меня. Митрополит служил всенощную, так как на другой день праздновалась память св. Сергия. Духовенство и монахи с буквальной точностью подражали митрополиту: одновременно с ним крестились и кланялись, при чем я заметил, что, когда они не крестились и не кланялись, то обменивались замечаниями и шутками и вели себя не так, как подобает в таком святом месте. Церковная служба,

очевидно, не имела для них значения. Их лицемерие в доме проповедника правды св. Сергия наполняло меня негодованием, и я ушел, не дождавшись конца всенощной и не преклонив колен перед мощами, так как считал богохульством сделать это на глазах этих фарисеев.

Когда я вернулся в свою комнату, меня ожидала телеграмма, извещавшая, что мою просьбу о поступлении в академию учебный комитет Св. Синода будет рассматривать через два дня, так что я должен был выехать немедленно. Так как я должен был несколько часов ожидать поезда в С. - Петербург, то я пошел осмотреть колокольню Ивана Великого в Кремле. Сторож, который со мной поднялся, показал мне старинный колокол, отобранный от древней Новгородской республики. Почти под облаками, высоко над людными улицами, я глядел на этот колокол, и мое воображение представляло себе фигуры тех людей, которых он в давно минувшие века созывал на свободные собрания. Хотя я еще тогда ни в чем не был противником самодержавного правления, все же не мог удержаться от смутного ощущения грусти и сожаления об этом свободном государстве, покоренном самодержавной Москвой. Я также посетил древний Вознесенский собор, который славится своим хором, и, слушая старинные напевы, я перестал сознавать окружающее, и опять в воображении представало передо мной вдумчивое лицо моей молодой жены; затем я снова увидал ряды жирных, лоснящихся монахов в Сергиевском соборе, и вновь мною овладело сомнение, и слезы подступили к глазам. Я Москву видел мало, но город этот мне понравился. Узкие неправильные улицы, маленькие простые дома, стоящие рядом с дворцовыми зданиями, Кремль с его историческими событиями — все это было близко моему сердцу. Вид бедного молодого крестьянина, стоящего посреди улицы и усердно молящегося, с глазами, устремленными на церковь, усилил это

впечатление. Но необычайное обилие питейных заведений и бесчисленные городские, грубые красные лица которых носили явные признаки их пристрастия к пьянству — были чрезвычайно неприятны.

Вид Петербурга очень поразил меня. Я ожидал увидеть большой мрачный город, окутанный дымом и туманом, населенный бледными, худыми, нервными, благодаря их нездоровой и неестественной жизни, людьми. Но стоял июль; день выдался светлый, солнечный; город показался мне в самом лучшем виде; всюду слышался веселый шум и кипела оживленная деятельность. Народ, который я встречал, вовсе не казался мне угнетенным, мрачным; напротив того, он был энергичнее, здоровее, чем обитатели моей мирной и поэтической Полтавы. Зато дома показались мне однообразной архитектуры и походили на большие казармы. И, действительно, среди построек много казарм, так как город переполнен военными и полицией.

В моей судьбе принимал участие не один епископ Иларион, но еще и одна дама, очень богатая полтавская помещица, которая предложила мне остановиться в ее изящном доме на Адмиралтейской набережной и написала обо мне Саблеру, могущественному помощнику обер-прокурора. Комнаты, мне предназначенные, были чрезвычайно удобны и выходили на Неву; но я был так поглощен своими собственными думами, что почти ничего не замечал, и как можно скорее отправился к Саблеру. Он немедленно принял меня, очевидно в виду переданного ему мною рекомендательного письма. То, что я раньше слышал об этом высокопоставленном чиновнике, было не очень лестно. В бытность свою студентом в С.-Петербургском университете, молодой Саблер регулярно посещал те церкви, в которых бывал Победоносцев, становился на видном месте перед его глазами и усердно молился. Говорят, что таким путем ему удалось с ним познакомиться и войти в

милость. Позднее Саблеру удалось стать управляющим одним из великокняжеских дворцов, и с течением времени он сделался помощником прокурора Святейшего Синода, делаясь постепенно правой рукой Победоносцева и заменяя его в его обязанностях в случае отсутствия или болезни. В продолжение своей карьеры он служил не какому-либо принципу или идеалу и не родине, а лишь собственным интересам и всему, что могло помочь его обогащению или производству в высшие чины. Я не могу ручаться за достоверность этих рассказов, но впечатление, произведенное на меня Саблером, было безусловно не то, которое произвел бы благочестивый слуга Бога. Саблер был высокий седой мужчина, с умильной улыбкой и милостивыми манерами. Он выказал мне особое расположение, пригласил меня завтракать и обещал похлопотать о моем поступлении в академию. «Мы знаем о вашем плохом поведении в семинарии, — сказал он: — мы знаем, какие идеи вы в то время имели. Но епископ написал мне, что вы совершенно изменились с тех пор, как стали священником и оставили все ваши глупые понятия. Да, да, мы вас примем и мы надеемся, что вы будете думать только о том, как бы сделаться верным слугой церкви и будете работать исключительно для нее».

«Вы должны побывать у отца Смирнова, председателя учебного комитета, — закончил он, — расскажите ему вашу историю и потом идите к Победоносцеву, который слышал о вас от вашего епископа».

От Саблера я пошел в Синод, виделся с отцом Смирновым, толстым, болтливym, чванным священником, оттолкнувшим меня своим высокомерием. Он благословил меня, хотя, не состоя в высшем ранге духовенства, он не имел права благословлять священника. «Право, не знаю, можете ли вы поступить в академию, — сказал он, — мой друг, профессор Щеглов, говорил мне о том, как вы спо-

мои надежды рушатся, вызвали во мне негодование и протест.

— Но, ваше превосходительство, — крикнул я, — вы должны меня выслушать, это для меня вопрос жизни. Единственное, что мне теперь остается — это затеряться в науке, чтобы научиться помогать народу. Я не могу примириться с отказом.

Очевидно, в моем голосе было что-то, что остановило его. Он повернулся ко мне, с удивлением слушая меня, и, пристально глядя мне в глаза, вдруг сделался милостив ко мне.

— Да, епископ Иларий говорил мне о вас; хорошо, идите к отцу Смирнову на дом — он живет теперь в Царском Селе — и скажите ему от меня, что он должен прислать благоприятный доклад в Св. Синод. Затем он исчез.

На другой день я посетил отца Смирнова, и на этот раз он обещал послать благоприятный отзыв. Он посоветовал мне побывать у председателя Синода, митрополита Палладия, чтобы этим обеспечить себе желаемый результат. Я последовал его совету.

Когда митрополит благословил всех посетителей в приемной комнате, я подошел и изложил ему свою просьбу. Старик уже начинал страдать размягчением мозга, и по какой-то причине моя просьба привела его в ярость. Он застучал по полу жезлом и стал кричать на меня, чтобы показать присутствующим, как следует обращаться с бедным провинциальным священником. «Из Полтавы? Что тебе здесь надо? Академия? Что ты будешь здесь делать? Зачем ты ко мне пристаешь? Убирайся!»

Я ушел с тяжелым сердцем и думал, что мои последние надежды рухнули, но, к моему удивлению, мне сказали в канцелярии, что вопрос о моем принятии уже обсуждался в Синоде под председательством Палладия и разрешен благоприятно. Позволю себе здесь заметить, что вскоре

после Палладий умер и был замещен Антонием. Антония я несколько раз видел и расскажу о нем впоследствии.

На другой день я снова видел отца Смирнова, и на этот раз он решительно обещал мне прислать благоприятный доклад в Св. Синод. Я принялся готовиться к экзаменам, так как оставался всего один месяц для занятий. Я работал по 18 часов в сутки, но и то мне удалось прочесть только по одному разу то, что я должен был знать. Накануне экзамена мои нервы совсем расстроились, руки дрожали до того, что я не мог держать пера. Когда я захотел проверить, знаю ли я предметы, то к ужасу своему увидел, что не знаю ни одного слова. В отчаянии я лег на постель и заснул. Снова мне явилась моя жена и поцеловала меня, и отчаяние мое прошло. Встав на другое утро утешенный и спокойный, я пошел на экзамен, который и выдержал блестяще, и получил лучшую стипендию, которая предоставляется наиболее успешным и старательным студентам.

Таким образом я стал студентом Петербургской духовной академии и поселился в здании академии. Здесь, думал я, я найду ответ на столь мучивший меня вопрос о смысле жизни. Здесь я ожидал найти простор, в котором мои мысли могли бы свободно развиваться и свободно искать истину, не будучи стесненными ритуализмом и светскими предрассудками. «Alma mater» чистой мысли и чистой науки открыла передо мной двери, и я вошел с сердцем, возродившимся для усердной науки и самоотверженной жизни. Я думал, что в этом святилище науки тем или другим путем я приобрету то, что поможет мне служить правде и народу. Но надежды мои совсем не оправдались. Вскоре я убедился, что подавляющее большинство студентов столь же мало интересуются религиозными и нравственными истинами, как и преподававшие им профессора. Ученье было только формальное и схоласти-

ческое. Не дух, а буква Священного Писания изучалась. Только профессор истории церкви Болотов составлял исключение. Это был серьезный и очень умный человек; остальные вовсе не соответствовали своему назначению. Так например, профессор, читавший о божественности Христа, молодой человек, приходил на лекции с красным лицом и опухшими глазами. Студенты, знавшие его, говорили, что он проводит ночи в пьянстве и безобразиях, и после этого он мог приходиться и говорить о святом семействе с такой фамильярностью, как будто он был в близком родстве с ним. Как могло не возмущать меня все это?

Постепенно я потерял всякий интерес к лекциям и понял, что никаких серьезных познаний от профессоров я не получу. Все же я еще старался серьезно относиться к сочинениям, которые время от времени заставляли студентов писать и которые тщательно изучались начальством. В первом сочинении я изложил как можно яснее свои мысли и получил за то строгий выговор от профессора. «Вы не должны иметь собственных суждений об Евангелии», — сказал он, — «студенты должны лишь изучать то, что говорили Св. Отцы». Когда же в другом сочинении я постарался честно отнестись к теме, мне пригрозили исключением. Опять я почувствовал, что почва ускользает у меня из под ног.

Однажды петербургский архиерей Вениамин, слышавший обо мне от преосвященного Илариона, пригласил меня принять участие в миссии для рабочих, которая находилась при церкви на Боровой улице. Фабричные рабочие, мужчины, женщины и девушки, должны были собираться в этой церкви, и священники должны были говорить с ними для того, чтобы поднять их нравственность. Первое собрание, на котором я присутствовал, произвело на меня глубокое впечатление. Я увидел толпу бледных угрюмых мужчин и женщин, плохо одетых, с печалью бес-

конечного страдания на лицах, но в глазах их я прочел страстное желание услышать правду. Священник говорил им о заповедях и о страшном суде. Я чувствовал, что подобная речь не могла удовлетворить слушателей; им нужна была поддержка, они нуждались в прощении и христианской любви. Как могли они не быть слабыми и грешными, когда окружающая их обстановка была лишена какого бы то ни было луча света или надежды. На следующем собрании миссионеров, где обсуждался дальнейший ход работы, я высказал свое мнение, что для укрепления работы миссии необходимо организовать рабочих для взаимной поддержки и кооперации, чтобы они могли улучшить экономический быт своей жизни, что я и считал необходимой предварительной стадией для их нравственного и религиозного воспитания. Когда пришла моя очередь говорить, я постарался убедить их, что они и сами в силах улучшить свою жизнь, но я сознавал, что не сказал им всего, что думаю, что я не указал им пути к действительному улучшению их судьбы. Я чувствовал, что работа не соответствует моим взглядам и что я не могу ничего сделать народу, который призван наставлять. В отчаянии, я оставил миссионерство. Я стал мечтать о мирной жизни в одном из монастырей, где бы на лоне природы я мог молиться, не смущаемый житейскими грехами. Мое настроение и мое здоровье пошатнулись, и серьезно обеспокоенные друзья мои сделали подписку, к которой присоединилась и академия, чтобы отправить меня куда-нибудь, где бы я мог совершенно поправиться. Я поехал в Крым.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ложные пастыри

По дороге в Крым я остановился в Харькове и там встретил не менее двадцати трех семей, служивших в Полтаве и высланных оттуда губернатором в 24 часа. Некоторые из них были моими старинными знакомыми, и я много с ними беседовал. Я не буду вдаваться в подробности, но простой факт, что двадцать три семьи, более ста человек, могли быть лишены заработка и высланы из губернии без всякой вины, лишь за честное исполнение своих обязанностей, вызвал у меня тягостное раздумье о существующем политическом строе России.

Приехав в Крым и остановившись в предместьи Ялты, Чукурлар, я занялся восстановлением своего здоровья. Чукурлар расположен у подножья скалы, и я большую часть времени проводил, любуясь чудным морем и наслаждаясь солнцем и живительным воздухом. Мои частые посещения Ялты препятствовали моему выздоровлению. Ялта — модное место, посещаемое богатыми людьми, которые приезжают сюда не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы бросать деньги и наслаждаться. С отращением смотрел я на бессмысленное и безнравственное швыряние денег, денег, заработанных трудом бедных крестьян, нужду которых я так хорошо знал. Рядом с роскошными домами, в которых царили богатство и величие, в городе были тысячи несчастных существ — голодных, холодных и бесприютных. И, действительно, город поражает человека впечатлительного контрастом между роскошными дворцами центра и ужасными лачугами предместий. Как в городе, так и его окрестностях находятся

дворцы и имения царя, и вид этой вопиющей бедности у самого порога дворцов и на границах имений наполнял невыразимой горечью мое сердце и отравлял мне наслаждение природой, которая так хороша здесь.

Счастливая случайность столкнула меня с отцом Николаем, епископом таврическим. В его епархии его не любили за его гордость и высокомерие, но ко мне он был очень добр, и, когда узнал, что я студент академии, стал относиться еще дружелюбней и предложил мне жить в Георгиевском монастыре. Я с радостью принял предложение.

Монастырь этот с его чудными окрестностями расположен на высоких горах, господствующих над Черным морем. Свежий воздух и вид громадного водного пространства укрепили мое здоровье. Я любил смотреть на море, и мне казалось, что оно дышет как живое. Спокойствие, силы и вера в свои планы стали возвращаться ко мне, и на свое намерение поступить в монастырь я стал смотреть иначе, чем смотрел, когда был утомлен и в отчаянии.

Вскоре я увидел, что местные природные богатства остаются неиспользованными, и монахи, избегая настоящей работы, все время проводят в прислуживании приезжающим в монастырь и останавливающимся в гостинице, которая была всегда полна праздною и богатой публикой, среди которой было много и молодых женщин, и отношения между монахами и ими не всегда были подобающие. Большинство монахов жили праздно и весело на счет доходов с гостиницы, а около 2 тысяч десятин великолепных виноградников, принадлежащих монастырю и могущих давать по 200 руб. с десятины, оставались в то же время заброшенными.

Настоятель монастыря — старик с добрым и интеллигентным лицом, очевидно, очень набожный — сначала мне сильно понравился, но потом я стал сомневаться в его

искренности. Как - то раз мы поехали к маленькой, старой, заброшенной часовне. Увидев на некоторых деревьях вокруг часовни множество сукожных шарфов, я спросил настоятеля, что это означает, и он объяснил, что не только христиане, но и многие татары верят в целебные качества маленького ключа за часовней, возникшего по преданию от удара лошади св. Георгия. Набожно перекрестившись, настоятель сказал мне: «Мы должны построить здесь новую часовню; подумайте, какой доход получит монастырь благодаря св. ключу». Благочестивый настоятель предпочитал эксплуатировать суеверие простого народа, тогда как кругом без всякого употребления лежали тысячи десятин хорошей земли, могущих принести большой доход.

Такое противоречие между благочестивыми словами и неблагочестивыми поступками мало - по - малу уничтожили мое стремление к монашеской жизни. Как - то в монастырской часовне я наблюдал за высоким толстым краснолицым монахом. Маленькая старушка, согнутая годами, пришла к нему получить разрешение от грехов, и меня сразу смутило ее серьезное лицо с озабоченными глазами и самодовольный вид здорового духовника. Другой монах, лет 45-ти, по имени Георгий, пользовался большой популярностью не только среди христиан, но и между татар. Он проводил время, выкапывая пещеры в почти непроходимых местах; прожив в выкопанной с неделю, он оставлял ее, чтобы начать новую. Я посетил этого отшельника вместе с толстовцем, писателем Сергеенко. Очень узкая дорожка вела к пещере. Недалеко от нее дорожка была завалена грудой нечистот, хотя самая пещера была совершенно чистой. Мы очень удивились объяснению отшельника, что это сделано им нарочно, чтобы отвадить посещавших его из любопытства. Долго мы беседовали с ним, и я пришел к заключению, что он забыл не только то, чему он когда - то учился, но и потерял всякое понимание

настоящей жизни. Монастырь, однако, поддерживал отшельника, служившего приманкой и, в известной степени, источником дохода. Едва ли я должен сказать, что такой способ спасения не находил во мне отклика. Я не верил в право человека заботиться только о своем спасении, забывая о страданиях своих ближних.

Во время моего пребывания в монастыре я встречался со многими интересными личностями, из которых трем я обязан своим решением вернуться в мир. Наиболее известный из трех, это великий художник Василий Верещагин. Он жил около нас, ближе к морю, в маленьком домике, с двумя детьми, которых он нежно любил. Это был суровый и даже резкий человек, с твердой волей, но великодушный. Его умные глаза смотрели из-под густых бровей, и все его строгое, окаймленное бородой лицо говорило о сильном характере. В своем искусстве он видел миссию, и этот взгляд отражался во всех его произведениях. Помню, как однажды, когда он работал при свете заходящего солнца, его старый школьный товарищ, адмирал С. пришел повидаться с ним. Верещагин работал и не хотел никого видеть. Адмирал просил позволения сказать ему пару слов, но художник остался тверд, и адмиралу осталось только уйти. «Конечно, — сказал мне потом Верещагин, — мне приятно было бы поговорить со старым знакомым, но работа прежде всего. Я не могу по желанию чувствовать вдохновение и находить подходящее освещение, и потому не могу пренебрегать ими». Он был человек добрый, несмотря на резкость его речи. Его живость и доброта были заразительны. Мы часто гуляли по горам и на взморье, и я помню многое из его разговоров. Я всегда уважаю человека, который откровенно высказывает свои убеждения, не оглядываясь на последствия. «Я ясно вижу, что и вы пережили какую-то драму, и хочу вам сказать, что я об этом думаю. Сбросьте рясу! Не

надо ее! В свете так много работы, требующей затраты всей нашей энергии», — говорил Верещагин. Он был реалист в искусстве. Он считал только то произведением искусства, что вполне верно отражало правду. Задача художника в том, чтобы в природе и жизни находить подходящие сюжеты, в которые он мог бы воплотить свои идеи. Он осуждал знаменитого художника Иванова за его картину «Явление Христа», в которой он изобразил Христа возвращающимся из пустыни с суровым лицом, в растрепанной одежде и с гладко причесанными волосами. «Как мог кто-нибудь, — говорил Верещагин, — возвращаться из пустыни с гладко причесанными волосами?» Вторым человеком, имевшим на меня большое влияние, был писатель по фамилии Янчев, по происхождению армянин. Он произвел на меня глубокое впечатление своей преданностью народу. Со слезами на глазах он рассказывал о массовом избиении армян в Сассуне. Третьим человеком, окончательно убедившим меня оставить все мысли о монашеской карьере, был старый идеалист сороковых годов, дворянин по происхождению, Михайлов. «Снимите вашу рясу, — говорил он, — и тогда вы будете свободнее работать для родины и для народа».

Я прожил почти год в Крыму, бывал иногда в Балаклаве и в соседних монастырях, которые все производили то же тяжелое впечатление: всюду заброшенные богатства и праздная, даже непорядочная жизнь. С каждым днем я все более убеждался, что все эти тысячи монастырей только питомники порока и рассадники народного суеверия. А какую бы пользу могли они принести народу! Лучшие места в Крыму, а также и в других местах России, принадлежат монастырям и не только не приносят пользы, но даже делают зло народу. Придет время, когда все это изменится.

Здоровье мое совсем поправилось, и я с новыми силами и надеждами вернулся в Петербург.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Между босяками и рабочими

Я решил продолжать свои занятия в духовной академии с тем, чтобы, получив там ученую степень, поступить на такое место, которое позволило бы мне всецело посвятить себя работе среди рабочего класса столицы. Занятиям в академии я решил отдавать ровно столько времени, сколько необходимо, чтобы выдержать экзамены, а остальное время посвящать сближению с рабочими.

Услышав о моем приезде, Саблер (помощник Победоносцева) пригласил меня участвовать в братской миссии той церкви, в которой он был старостой. Церковь эта называется Скорбящей Божьей Матери и находится в Галерной Гавани.

Галерная Гавань, расположенная в низкой части города, часто подвергается наводнениям, причиняющим большие бедствия живущим там беднякам. В этом же квартале находятся и Балтийские верфи, много заводов и фабрик.

Здесь я проповедывал о долге, о счастье, и вскоре моя паства настолько увеличилась, что здание не могло вместить ее. Часто собиралось более 2 тысяч народу слушать меня. Но этого было недостаточно. Казалось мне, что за словами должны следовать дела, и я начал обдумывать, какой практический план я мог бы предложить народу для улучшения его жизни. Я посоветовал им организовать братство для взаимной помощи. Этот план я сообщил настоятелю, которому он понравился, и он разрешил мне его выполнить. Приход тоже, очевидно, был очень доволен. Идея образовать такое братство быстро распространилась среди рабочих. Настоятель сообщил

план этот архиерею, который был в то же время ректором академии, и просил его произнести проповедь на эту тему.

Казалось, что все благоприятствует моему плану. Я нетерпеливо ожидал дня, когда мое предложение должно получить официальную санкцию, и организация могла быть открыта. Но Саблер отказался дать свое согласие, может быть из-за неблагоприятных отзывов обо мне, данных некоторыми из духовенства, которые ревновали моих прихожан ко мне. К моему большому огорчению, в санкции было отказано под предлогом, что уже существует такая организация взаимопомощи во время периодических наводнений. Эта организация существовала все-таки только для случайных происшествий и была всецело в руках духовенства, тогда как вся суть моего плана была в том, что это будет постоянная организация и все управление будет всецело в руках самих рабочих и что это воспитает в них самоуважение и уверенность в возможности кооперации. После отказа я не считал возможным оставаться на своем месте, подал в отставку и отказался в то же время продолжать работу в обществе для распространения религиозного и нравственного обучения, во главе которого стоял священник Орнатский, который, к несчастью, сделался правой рукой с.-петербургского митрополита. Это общество было под особым покровительством царя и правительства. Я чувствовал, что не могу принять в нем участия, потому что мне казалось смешным, как, например, я, молодой студент академии, которому едва исполнилось двадцать лет, буду проповедывать целомудрие перед толпой стариков и старух или же уговаривать их, во имя трезвости, дать клятву воздерживаться от пьянства на некоторый период. Я знал, что, нарушая свою клятву, они приходили иногда в такое отчаяние, что принимались пить больше, чем прежде только для того, чтобы забыться. Я считал, что необходимо этим людям дать

более солидные познания, расширить их кругозор и научить их думать и действовать самостоятельно. Проповедывать же абстрактные принципы мне казалось бесполезным. Я познакомился со многими рабочими, посещая их на Балтийской верфи и вступая с ними в разговоры. Они верили мне и даже признавались, что увлекаются политическими идеями. В то время я еще не думал о необходимости политических реформ и говорил рабочим, что трудовой организацией они добьются лучших результатов для себя, чем столкновением с правительством. Я искренно сочувствовал их тяжелому положению. Однажды, когда я проходил по плавильному отделению, один из рабочих спросил меня: «разве в аду хуже, чем здесь?» и когда я в ответ упомянул имя Бога, он крикнул: «здесь нет Бога; я тысячу раз молил его избавить меня от этого ада, в котором мы мучаемся ради куска хлеба, но он не услышал моей молитвы».

Когда я был на втором курсе академии, мне предложили место исправляющего должность главного священника во втором приюте Синего Креста. Приют этот также находился в рабочем квартале. Одновременно меня пригласили проповедывать священное писание в Ольгинском доме для бедных, состоящем под покровительством императрицы.

Чтобы попадать на место моей службы, я должен был проходить громадное поле, называемое Гаванским полем. Это большое открытое пространство могло бы быть использовано как место для детских игр, а между тем оно является очагом заразы, служа свалочным пунктом и местом сборищ босяков, жизнь и страдания которых так хорошо описаны Максимом Горьким. Часто на своем пути я останавливал этих несчастных, знакомился и разговаривал с ними и помогал им чем мог. Их печальная судьба глубоко меня трогала. В это время у меня еще не возникла мысль об участии в переустройстве общества по-

средством организованной борьбы рабочего класса. Я просто шел к наиболее страдающим и обездоленным, движимый исключительно желанием им помочь. Даже эти несчастные отщепенцы Гаванского поля, казалось мне, не должны быть вне человеческого сострадания. Было и другое место, носившее название «Девичье поле» по названию монастыря, находящегося близ него, где собирались такие же несчастные отщепенцы — мужчины, женщины и дети. И это место я тоже посещал часто. Задача, как помочь им, все более и более охватывала мои мысли. Чтобы добраться до корня вопроса, я стал посещать частные ночлежные дома, которые в Петербурге, как и в других городах, служат дополнением к одинаково несущественным городским учреждениям этого рода. Во многих ночлежных домах санитарные условия были ниже критики, а воздух так тяжел, что, по простонародному выражению, в нем можно было топор повесить. Вначале я переодевался, чтобы ночевать в этих ночлежках, но потом, когда хорошо познакомился с их посетителями, стал приходить по вечерам уже в священнической рясе и, найдя себе помощника среди развитых рабочих, правил там небольшие богослужения. Вскоре бедняки стали собираться ко мне и рассказывать о своей жизни. Они нашли во мне друга, я же нашел, что даже на этом «дне», где все человеческое было забито и искажено, сила искреннего доброжелательства могла возродить даже тех, кто считался безвозвратно потерянным. Конечно, было неизбежно, что, в конце концов, эти сведения о моей деятельности дойдут до полиции. Однажды градоначальник Петербурга генерал Клейгельс предложил мне явиться к нему в канцелярию. Он спросил меня, чем я занимаюсь, и я ему подробно изложил все причины, благодаря которым я стал интересоваться состоянием этого беднейшего слоя населения; я сказал ему, что я пытаюсь найти способ, каким можно было бы

возвратить этих несчастных людей к честной и порядочной жизни. Я добавил, что собираюсь писать доклад о всех своих заключениях и предложениях, а он, делая вид, что все это его очень интересует, и видя, что у меня никаких политических целей в работе нет, отпустил меня.

Среди босяков, с которыми мне приходилось сталкиваться, я встречал, к великому моему удивлению, лиц действительно одаренных; встречал людей, занимавших раньше высокое положение — офицеров, адвокатов и даже членов аристократических семей. Мне было ясно, что многие из них могли бы быть полезными членами общества, если бы попали в лучшие условия и обрели веру в себя.

Я написал обширный доклад на тему о возрождении этих несчастных посредством устройства целого ряда рабочих домов в городах и рабочих колоний в деревнях, в основе которых лежал бы принцип труда, так как труд есть цель жизни, и каждый обязан трудиться.

Каждый из безработных поступает в один из домов или колоний, при чем ему предоставляется выбор между разными работами, и, соответственно этому, между различными домами и колониями. В докладе я наметил три типа подобных учреждений. Одни служили бы для принудительных работ преступников, для надзора за которыми правительство назначало бы служащих. Работавших здесь всегда бы поощряли к самоусовершенствованию и к участию в организации работ, чтобы заинтересовать их самих к исправлению. Только известный процент заработка выдавался бы на руки; остальное шло бы на организацию предприятия. Труд был бы непременным условием и критерием; оказавшиеся достойными переходили бы в другие дома или колонии, где кооперативный принцип применялся бы более широко. Здесь работающим могло бы быть предоставлено право выбора своих должностных лиц и ведение работ мастерской или колонии. Половина за-

работка считалась бы собственностью работающих. Эта ступень имела бы большое воспитательное значение и подготовляла бы работников для высшей ступени рабочих домов или колоний, которые практически были бы свободными кооперативными предприятиями. Почти весь заработок принадлежал бы членам, но с условием, что, наработав, примерно, 300 руб., участник уходил бы, давая место вновь поступающим.

Во всех этих учреждениях церковь была бы центром религиозного и нравственного влияния. Работающие могли бы принимать деятельное участие в жизни церкви. Выборный комитет из активных участников рабочих домов и колоний управлял бы всеми учреждениями. Средства добывались бы частью пожертвованиями, частью от местных властей, частью от правительства. Но я думал, что при осуществлении моего плана полностью можно было бы не только покрыть все расходы, но и получить остаток, достаточный для дальнейшего развития организации. Необходимо, чтобы местные власти и правительство изменили бы порядок сдачи общественных работ. Сдача таких работ вместо подрядчиков и посредников кооперативным организациям уничтожила бы эксплуатацию трудящихся, удешевила бы работу и улучшила бы ее качество. Я говорил об этом плане со многими знакомыми безработными, обсуждавшими, в свою очередь, этот вопрос между собою, и они горячо приветствовали общие принципы моего плана, а мое заявление собрало около 700 подписей.

Я познакомил генерала Клейгельса с содержанием моего доклада, дополнив его критикой существующих рабочих домов, доказав их полную несостоятельность, как средства развить волю человека и хотя сколько-нибудь обеспечить его жизнь. Копию с доклада я послал генералу Максимо-вичу, заведывающему всеми рабочими домами, состоящими под покровительством императрицы. Повидимому, доклад

мой ему понравился, так как он отнесся сочувственно к моим планам. Максимович приказал напечатать мой доклад и один экземпляр его отправил к Танееву, большому любимцу государя, начальнику собственной его величества канцелярии, на положении министра, вице-председателю комитета попечительства о домах трудолюбия и рабочих домах, председателем которого состоит императрица. Танеев сказал о моем докладе императрице, которой, как мне известно, он также понравился, и она пожелала, чтобы он был обсужден в комитете в ее присутствии, при чем предполагалось пригласить и меня для объяснений. Успех моего доклада так ободрил меня, что я хотел посвятить разработке этого вопроса всю свою жизнь. Но радость моя была преждевременна. Проходил месяц за месяцем, и комитет не созывался. Генерал Максимович, который делал вид, что очень интересуется этим вопросом, утешал меня, говоря — то, что императрица больна, то она уехала и т. д. Очевидно, бюрократия решила замолчать мой проект.

Тем не менее, слух о моем докладе распространился в обществе, и некоторые аристократы заинтересовались им, а попутно и мною. Меня стали приглашать в салоны титулованных особ, близких к придворным сферам, где я вскоре совсем освоился. В это время я познакомился с различными представителями придворной знати. Чаше других, я бывал у Хитрово, умной женщины, вдовы покойного гофмаршала Хитрово, бывшего русским посланником в Японии. Там я имел случай наблюдать жизнь высшего общества и нашел ее далеко не завидной. Как в разговорах своих, так и в поступках, люди эти никогда не были искренни. Вся жизнь их была нудная, скучная и бесцельная. Их интерес к благотворительности был порывист и поверхностен. Сначала я верил их добрым намерениям, и когда меня просили собрать сведения о том или другом се-

мействе, я, не щадя времени, а иногда и денег, исполнял эти поручения, тщательно исследовал дело и докладывал о нем. Вскоре я убедился, что усердие мое было неуместно; все ограничивалось одними расспросами: ни настоящего участия, ни желанья помочь беде не было. Им нужно было только новое развлечение. Ту же самую искренность я заметил в них и по отношению к религии. Они часто высказывали большой интерес к жизни Христа и просили меня рассказывать им о ней, но потом я убедился, что интересуется их нечто совсем другое. Тем не менее, в обществе этом была женщина, которую я глубоко уважал. Это была Елизавета Нарышкина, старшая гофмейстерина при императрице, дама высшего аристократического круга, весьма любимая царем и императорской фамилией. Женщина добрая и умная, она была основательницей многочисленных благотворительных учреждений, вполне удовлетворявших своему назначению. Она часто приглашала меня к себе, и мы подолгу разговаривали. Благодаря ей я стал идеализировать императора Николая II. Она рассказала мне, что, когда он был ребенком, она носила его на руках, и на ее глазах он вырос; она уверяла меня, что знает его, как своих детей, и отзывалась о нем, как о действительно добром, честном человеке, но, к сожалению, совершенно бесхарактерном и безвольном. В моем воображении создался образ идеального царя, не имевшего только случая показать себя, но от которого только и можно было ожидать спасения России. Я думал, что, когда наступит момент, он покажется в настоящем своем свете, выслушает свой народ и сделает его счастливым.

В то время я служил в Ольгинском приюте и в приюте Синего Креста. В приюте Синего Креста я был избран заведующим. Об этом было доложено моему академическому начальству и митрополиту Антонию, которые остались

этим очень довольны. Как заведующему приютом, мне пришлось столкнуться с председателем комитета всех приютов, Аничковым, бывшим одновременно и гласным городской думы. Он оказывал мне большое, но своеобразное расположение: в состоянии опьянения, он открывал мне свою душу и рассказывал о своих похождениях. Говорил о многих бесчестных проделках, в которых он участвовал вместе с городской управой. Часто приглашая меня к себе, он угощал меня всевозможными винами, которые, по его словам, были украдены его дядей, заведывавшим хозяйственной частью в Зимнем дворце. Рассказывал много странного из области дворцового хозяйства. Количество дворцовой прислуги громадно; одних поваров около 70, и каждый из них крадет сколько может, и, вообще, воровство там нечто обычное. С глубоким огорчением слушал я эти рассказы и думал, как хорошо было бы, если бы вместо того, чтобы расточать так непроизводительно народные деньги, царь подавал бы всему миру пример умеренной жизни.

Считая Аничкова добродушным и искренним человеком, я откровенно говорил с ним о том, как темна наша народная масса и как ее эксплуатируют. Но скоро я узнал, что его кажущаяся дружба ко мне была только ширмой для предательства, чтобы лучше погубить меня. Думаю, что главной причиной его коварства было мое критическое отношение в моем докладе к организации приютов. В докладе своем я доказывал, что приюты, находившиеся в ведении Аничкова, Витте и других высокопоставленных лиц, содержались плохо и совсем не соответствовали своему назначению. Чтобы дискредитировать меня, Аничков не нашел ничего лучшего, как распространять различные сплетни из моей прошлой жизни, уснащая их им же самим выдуманными подробностями. Единственно, чего я мог бояться — это были последствия моей искренней дружбы

с бедными и отверженными. Рабочим все более и более нравилось мое служение, и они тысячами наполняли церковь. Иногда я говорил им о тяжести их положения, о гнете, который они терпят, и весьма вероятно, что употреблял при этом неосторожные выражения.

Сблизившись с рабочими, я изучил условия их жизни и находил, что, действительно, они очень тяжелы. В Петербурге числится свыше 200 тыс. рабочих, большая часть которых работает в ткацких мастерских и на механических заводах и сосредоточена в рабочих кварталах города. Заработок их равняется 14 руб. в месяц и больше, и только самые лучшие рабочие получают до 35 руб. Мастера часто относятся к ним грубо и несправедливо, вымогая взятки под угрозами расчета, и оказывают предпочтение своим родственникам и друзьям. В случаях недоразумений между мастерами и рабочими, фабричные инспектора становятся почти всегда на сторону хозяев, всеми силами стараясь принудить рабочих к уступке. Даже фабричные доктора, оплачиваемые хозяевами, их верные слуги, и при несчастных случаях дают такие свидетельства, которые лишают потерпевших рабочих права на вознаграждение. Такое отношение к рабочим со стороны хозяев, начальства и полиции, которые действуют сообща, чтобы помешать им добиться справедливости, все более и более озлобляет рабочих. Тогда я понял, что если сплотить всю эту массу рабочих и научить ее, как отстаивать свои интересы, то какое громадное влияние это оказало бы на улучшение условий труда в России.

Когда я состоял священником в Ольгинском приюте и во втором Синем Кресте, неожиданная интрига едва не прекратила моей деятельности. Княгиня Лобанова - Ростовская, предложила мне быть священником в Красном Кресте. Я решил оставить Ольгинский приют и принять предложение; митрополит в принципе одобрил мое решение.

Это было в начале четвертого и последнего года моего пребывания в академии. Попечительному совету приюта это не понравилось; он опасался влияния этого перехода на многочисленную паству, собранную мною в приюте Ольги. Подстрекаемый Аничковым, попечительный совет послал доклад об этом епископу Иннокентию, в то время замещавшему митрополита Антония, и в результате я оказался уволенным из академии и устраненным от исполнения моих обязанностей.

Одновременно Аничков донес на меня, как на революционера, в охранное отделение, и ко мне явился один из высших чинов этого отделения — Михайлов, чтобы допросить меня. Я рассказал ему все откровенно, и он отнесся ко мне с большим вниманием и дружелюбием, высказав при этом свое сочувствие освободительному движению. Вероятно, под влиянием отчета Михайлова своему начальнику, митрополит Антоний, тем временем вступивший в управление своих обязанностей, принял меня и восстановил меня в звании священника и ученика академии, и я снова стал принимать у себя своих друзей рабочих, и разговаривать с ними об их нуждах. Последующее даст объяснение тому странному случаю, благодаря которому я впервые получил поддержку со стороны русской полиции.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Я знакоюсь с Зубатовым

Однажды Михайлов приехал ко мне в академию и сказал, что одно лицо желает со мною познакомиться, и просил меня немедленно ехать к нему. Я согласился, и он привез меня к зданию на Фонтанке, на котором была краткая, но многозначительная надпись: «Департамент полиции».

Там мы прошли через ряд больших комнат, наполненных маленькими черными ящиками, в которых, как я узнал впоследствии, содержатся биографии и фотографии политически неблагонадежных лиц со всех частей империи. Коллекция эта известна в России под названием «книги судеб».

— Вы сейчас увидите Зубатова, — сказал мне Михайлов. Я в то время ничего не знал ни о департаменте полиции, ни о Зубатове, этом всеильном начальнике политического отделения. Мое любопытство было сильно возбуждено. Мы вошли в великолепную приемную комнату, и я был представлен Сергею Васильевичу Зубатову, мужчине около 40 лет, крепко сложенному, с каштановыми волосами, чарующими глазами и простыми манерами.

— Мой коллега Михайлов, — сказал Зубатов с приветливым движением руки, — хорошо отзывался о вас. Он говорит, что вы в постоянном общении с рабочими, имеете свободный к ним доступ и оказываете на них большое влияние. Вот почему я так рад познакомиться с вами. Я сам ставлю единственную целью своей жизни помощь рабочему классу. Вы, может быть, слышали, что я сперва пробовал это сделать, находясь в революционном лагере, но скоро убедился, что это был ложный путь. Тогда я сам стал организовывать рабочих в Москве и думаю, что я успел. Там у нас организация твердая. Они имеют свою библиотеку, чтение лекций и кассу взаимопомощи. Доказательством того, что мне удалась организация рабочих, служит то, что 50 тыс. рабочих возложили 19-го февраля венок на памятник Александру II. Я знаю, что и вы интересуетесь этим делом, и хотел бы работать вместе с вами. При этом он пригласил меня приехать к нему на следующий день для дальнейшего выяснения этого дела.

Упоминание о венке меня неприятно поразило, так как от самих рабочих я слышал, что это была только комедия

верноподданничества. Рабочие понимали всю несостоятельность реформы освобождения. Тем не менее, интересуясь слышать, что дальше будет говорить Зубатов, я обещал ему приехать.

— Между прочим, — сказал Зубатов, — я пришлю к вам одного из наших организаторов, рабочего Соколова, — отличный парень.

Отвозя меня обратно в академию, Михайлов спросил, как мне нравится Зубатов. «Кто он, — невинно спросил я: — сыщик?» Едва ли его можно так назвать, — ответил Михайлов. — Он сочувствует революционному движению и часто помогает деньгами революционерам. Как вы сами видели, он настоящий государственный человек и специально занят улучшением быта рабочих, в чем вы и сами убедитесь»...

В тот же вечер Соколов пришел ко мне. Человек этот был в руках Зубатова и правительства сильным орудием в деле организации союза московских рабочих под наблюдением и управлением тайной полиции, и в Петербурге он был видным деятелем на том же поприще. Я убежден, что, несмотря на свою связь с тайной полицией, он искренне верил, что работает в пользу своих товарищей. Он казался мне умным и честным малым. Разговаривая со мною, он с гордостью рассказывал о том образовании, которое получают примкнувшие к московскому союзу рабочие, какие лекции им читают ученые и профессора, и при этом вручил мне листок Льва Тихомирова, литографированный на подобие революционных прокламаций, в котором он хвалил рабочих за то, что они возложили венок на памятник Александру II. Соколов с восторгом говорил об этом дорогом венке. Я возразил ему, что мне кажется достойным сожаления организация союза не для самозащиты, а для траты трудовых денег на подобные цели. «Да, — сказал Соколов, — но это понравится царю, а если он

будет доволен нами, то исполнит наши просьбы». Соколов говорил также об организации петербургского союза, в которой принимали участие некоторые профессора духовной академии, и при этом сказал, что ближайшее собрание состоится на - днях и что рабочие были бы очень рады, если бы я совершил богослужение, обычное в подобных случаях. Я обещал.

На другой день я поехал к Зубатову на его квартиру в департамент полиции. Он крайне любезно принял меня в своем роскошном помещении, и мы проговорили до 3-х часов ночи. Он долго развивал свои взгляды на политические и социальные вопросы и свое мнение о способах улучшения быта рабочих классов. «Наше счастье в том, — сказал Зубатов, — что у нас самодержец; он выше всех классов и сословий и, будучи совершенно независим на этой высоте, он может быть противовесом власти. До сих пор царя окружали люди высших классов, которые влияли на него в свою пользу. Нам же надо организовать так, чтобы и народ мог влиять на царя и быть противовесом влиянию высших классов, и тогда царствование его будет беспристрастно и благотельно для нации».

Все это казалось правдоподобным, но я не мог не предложить ему вопроса: «зачем же тогда вы желаете сохранения самодержавия? Не лучше ли и не безопаснее ли для царя будет, если он предоставит политическим партиям самим бороться между собою, как это делается в Англии и Франции? Мне кажется, если ваша теория верна, то конституционный режим был бы гораздо полезнее». «О, да, — ответил Зубатов: — к этому я и стремлюсь. Я сам конституционалист, но, видите ли, сразу этого сделать нельзя. Лев Тихомиров, например, стоит за сохранение самодержавия и доказывает, что оно в настоящее время выгоднее для нашего дела, чем конституционный режим, и потому мы должны организовать рабочий класс без уча-

ствия интеллигенции, которой так боится наше правительство. Когда мы это сделаем, мы можем вступить на более логический путь». Говоря это, Зубатов вручил мне памфлет, изданный Тихомировым в то время, когда он отрекся от революционной партии и в котором он старался объяснить: «Как я перестал быть революционером».

С самого начала я решил быть осторожным и, боясь, что, может быть, я был слишком откровенен и что Зубатов арестует меня, когда я выйду из его гостеприимного дома, я прибавил, что лично никак не могу назвать себя конституционалистом и что я рассуждал с его точки зрения и весьма заинтересован его «мыслями». «А я конституционалист, — повторил Зубатов, — но я противник примешивания студентов и интеллигенции к рабочему движению и охотно предпочту сотрудничество такого человека, как вы. Интеллигенция агитирует только в пользу своих политических целей. Она нуждается в рабочих только как в орудии для приобретения политической силы себе, и мы должны бороться против такого эгоизма и обмана простого народа».

Снова я не мог не возразить: «Но разве доктора не работают самоотверженно среди народа, а интеллигенция, студенты и революционеры, разве не жертвовала своею жизнью ради своих идеалов?» «Да, — сказал Зубатов, — они жертвовали собою, но что же из этого вышло? Они убили Александра II. Он был уже готов дать серьезные реформы, но после подобного факта правительство вернулось к прежнему, и наступил период реакции. Революционерам мы и обязаны, что организация рабочих была отложена надолго».

Я не стал более возражать из боязни выдать свое сочувствие к героям революции, о деятельности которых я много слышал от моих рабочих.

В конце разговора Зубатов спросил меня: «Ну, как же

вы думаете? Хотите ли присоединиться к нам и помогать нам?» «Я подумаю, — ответил я, — сразу не могу решить. Я поеду в Москву на рождественские праздники и там, на месте, познакомлюсь с деятельностью рабочих союзов, и тогда решу».

Еще одно небольшое обстоятельство из этого свидания осталось у меня в памяти.

Во время нашего разговора один из чиновников тайной полиции вошел с таинственным видом в комнату и вручил Зубатову маленькую папку, в которых обыкновенно пересылаются для безопасности бумаги по почте; при этом он шепнул несколько слов на ухо Зубатову, который стал поспешно срывать оболочку, и вытащил тонкий лист бумаги; прочитав его, Зубатов остался, видимо, очень доволен. Затем он вытащил из свертка копию с запрещенного издания партии соц.-револ. «Революционная Россия». Лицо Зубатова положительно сияло от восторга, и я понял, что, очевидно, он сделал полезную находку. Я не мог не сопоставить того благодушия, с каким он говорил о народном деле, с той алчностью, с какою он смотрел на участь тех несчастных, которые посмели провезти в Россию издание, несомненно более правдивое, чем те, которые проходят через цензуру.

— Вот яд, который они распространяют в народе, — сказал Зубатов, ударяя рукой по бумаге; при этом он выдвинул ящик из стола и показал мне кипу этого яда. Я взял первый попавшийся мне номер, если не ошибаюсь, написанный Крапоткиным, и наивно спросил, не могу ли я взять его с собой, чтобы просмотреть дома.

— Конечно, возьмите, — сказал Зубатов. И я всю ночь с увлечением знакомился с Крапоткиным.

Через несколько дней я отправился в Москву. Соколов познакомил меня с Афанасьевым, который был главным организатором рабочей ассоциации в Москве. Оказалось,

что существовал в Москве тайный совет рабочих, организованный Зубатовым и Треповым, стоявшим тогда во главе полиции, любимцем вел. кн. Сергея. Афанасьев, сам из рабочих, жил в роскошных апартаментах, и слуга его заставил меня долго ждать, вероятно для того, чтобы я проникся важностью этого момента. Когда, наконец, меня приняли, я увидел молодого человека с пронизывающими глазами, который сейчас же с большим энтузиазмом стал говорить о своей работе. «Дела идут великолепно. Мы имеем теперь не только механиков, но и красильщики и текстильщики поступают в большом количестве». Он довольно долго говорил о своей работе и надеждах, но меня охватило чувство неудовлетворенности и даже подозрения.

Затем я направился к одному своему бывшему ученику, имевшему типографию. «Скажите мне. — спросил я его, — каким образом я могу добраться до корня этого дела?» Он направил меня к одному журналисту, который прежде читал лекции под наблюдением зубатовского комитета, а затем ушел из этой организации; он охотно отвечал на мои вопросы.

«Этот союз, — сказал он, — хитрая ловушка, организованная полицией для того, чтобы отделить рабочий класс от интеллигенции и таким образом убить политическое движение. Он подрывает силу рабочих. Организаторы, с помощью тайной полиции, делают все, чтобы отвлечь внимание рабочих от политических идей. Они предоставляют рабочим ограниченное право собраний, но, во время разговоров, агенты тайной полиции выуживают наиболее интеллигентных и передовых, которых затем арестовывают. Таким образом, они надеются отнять у движения его естественных руководителей. Афанасьев сам только что предал молодую учительницу, — прелестная молодая личность, — которая все свое время и энергию отдавала занятиям с рабочими в воскресной школе. Он также выдал и

многих других, и аресты наиболее передовых рабочих постоянно производятся. Вначале я не понял настоящего смысла этого дела и согласился вместе с проф. Озеровым и некоторыми интеллигентами читать лекции рабочим, но когда мы поняли, в чем дело, то ушли из этой организации».

Все это наполнило меня отвращением. Организаторы этого союза получали большое жалованье и жили в роскоши. Я понял, что единственная цель этого союза состояла в том, чтобы остановить рост рабочего движения, и я решил, что примкнуть к зубатовской организации не только безнравственно, но и преступно.

В день крещения, 6 января 1903 г., я присутствовал на богослужении в Вознесенском соборе. Была торжественная служба, на которой присутствовали все высшие чины с Треповым во главе, но на меня вся эта обстановка произвела удручающее впечатление. Вместо искренней молитвы, исходящей из чистых сердец, я видел лишь парадные мундиры, и казалось, что никто не думал о значении этого великого дня, а только о собственной позе или же о своих соседях. Полиция с простым народом обращалась самым бесцеремонным образом, и я должен был вступить за одного человека, которого городской без всякого повода ударил по лицу. Вот, подумал я, как эти самозванные народные защитники, притворяющиеся, что организуют рабочих для улучшения их быта, не самом деле обращаются с ними как со скотами.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Конец зубатовщины

Я вернулся в Петербург уже более опытным и тотчас же написал доклад Зубатову, в котором доказывал, что его политика плохо обоснована и может только деморализовать

участников рабочего движения, и что единственный путь, который может действительно улучшить условия рабочего класса, есть тот, который усвоен в Англии, т.е. создание организации совершенно независимых и свободных союзов. Доклад этот я послал также Клейгельсу и митрополиту Антонию, при чем в последнем высказал свое мнение, что участие духовенства в этом движении только дискредитирует церковь. Клейгельс и митрополит Антоний — оба высказались против политики Зубатова; последний, очевидно, узнал об этом, так как стал еще более стараться заручиться моим сотрудничеством. Его агент Соколов часто приходил ко мне, все стараясь убедить меня.

Как-то Зубатов пригласил меня к себе, и я согласился пойти, отчасти потому, что хотел узнать все, что мог, об его планах, а отчасти потому, что все яснее и яснее видел необходимость организовать народные массы.

В то время Россия находилась под управлением покойного Плеве, и бедствия народа были прямо пропорциональны репрессивным мерам правительства. Я недавно читал брошюру Степняка и был поражен его суждением, что Россию может заставить сделать шаг вперед только организация рабочих. Я еще не видел ясно своего пути. Мой доклад на тему о возрождении босяков переходил из комитета в комитет, и я не ожидал благополучного исхода. Я жаждал поработать для народа, но в то же время отлично сознавал, что встречу непреодолимые препятствия со стороны полиции, если буду действовать независимо; мое решение свелось к тому, что будет умнее не объявлять, что я собираюсь делать в будущем, в то же время не оказывать никакой помощи Зубатову и его помощникам.

Однажды Зубатов устроил свидание со мною в доме одного из своих друзей, где я познакомился со многими лицами, игравшими видную роль в политическом движении последних двух лет. Мария Вильбушевич и доктор Шае-

вич, очевидно находившиеся под покровительством Зубатова, были основателями так называемой «Еврейской независимой рабочей партии» на юге России, на тех же основаниях, как и в Москве.

Должен сказать о них, что, несмотря на связь с полицейскими агентами, они, действительно, симпатизировали революции и по собственным причинам присоединились к Зубатову. Был там также и Михаил Гурович, высокий брюнет, который, как я потом узнал, был в близких отношениях с многими либералами и революционерами; благодаря ему многие из них попали в Сибирь и в тюрьму. «Это наш большой друг и помощник», — сказал Зубатов, представляя мне Гуровича. Были там также некоторые учителя и профессора, которые должны были читать лекции в будущем союзе рабочих в С.-Петербурге. Они все уверяли, что честные люди есть даже в рядах полиции и что лучше всего можно влиять на рабочих при ее помощи. «Рабочие в будущем оценят Зубатова, — сказал мне один из них, — и придет время, когда они ему поставят памятник». Я молчал и поражался тою искренностью, с которою они говорили, и думал, как легко можно обмануть простого человека таким образом. Должен, однако, сказать, что некоторые профессора сомневались, допустимо ли честным людям читать лекции в собраниях, находящихся под покровительством полиции. Был там и доктор Шапиро — лидер сионистского движения. Зубатов несомненно помогал им материально, и его политика была основана на принципе «раздели и царствуй» (*divide et impera*). Очевидно, он хотел организовать еврейских рабочих под знаменем сионизма и тем отвлечь их от революционных партий, тогда как рабочих христиан он вербовал якобы для борьбы за улучшение их экономических условий, но также с целью парализовать политическое движение. Все это доказывало ум Зубатова, и я, веря, что организация рабочих была необхо-

димым условием для будущего рабочего класса, не мог не удивляться изобретательности и мужеству, с каким он вел это дело.

Тут мне впервые пришла мысль, возможно ли, сделав вид, что я примкнул к зубатовской политике, достигнуть собственной цели в деле организации подлинного союза рабочих, но я очень боялся запятнать себя этим и потому на вновь предложенный вопрос о моем сотрудничестве я снова ответил, что должен подумать.

Чем больше я знакомился с вожаками зубатовского движения, тем я все яснее видел связь между духовенством и охранным отделением. Я познакомился со Скворцовым, известным своей враждой к старообрядцам, редактором «Миссионерского Обозрения» и близким другом Победоносцева и митрополита Антония. Это был человек совершенно беспринципный, и я скоро узнал, что как он, так и Победоносцев делятся своими сведениями о рабочем движении с Зубатовым и тайной полицией. Подобная же связь существовала между Орнатским и Лопухиным, товарищем м-ра внутр. дел Плеве. Я понял тогда, что русские попы просто чиновники охранного отделения; пожалуй, даже хуже — ведь полиция ловит только тела своих жертв, тогда как священники улавливают их души; они - то и есть настоящие враги трудящихся и страдающих классов.

Наконец, петербургский союз рабочих был формально утвержден, и я присутствовал на собрании при открытии, но не в ризе священника, так как я не мог участвовать в богослужении, которое меня просили совершить.

Здание было полно, и ректор академии произнес речь, в которой, напомнив о коммуне первых христиан, добавил, «что современная жизнь изменилась, и что основой общества должна быть частная собственность». Дальше он убеждал рабочих не завидовать чужому богатству, а стараться честным трудом, трезвостью и взаимной помощью улуч-

шить условия своей жизни. Когда аудитория разошлась, я думал, что все были разочарованы, так как ожидали чего-то совершенно иного.

Вскоре затем начались собрания и чтения на Выборгской стороне в рабочем квартале. Активного участия я в них не принимал, но дважды ходил туда, чтобы посмотреть, что там делается. На лекциях фабриканты, и в особенности правительство, выставлялись в лучшем свете, и прилагались все усилия, чтобы убедить рабочих примириться с современным положением вещей. Я просил своих друзей рабочих из Галерной Гавани ходить на эти лекции и сообщать мне обо всем.

Наступила весна 1903 года, и я стал усиленно заниматься к экзаменам в академии. Я работал много и усидчиво, чтобы написать богословскую диссертацию, что и выполнил успешно. Затем явился вопрос: что же дальше? Ректор убеждал меня, что я хорошо сделал бы, если б перешел в черное духовенство, которое является сильным и руководящим элементом во всем духовенстве, и занимает все высшие посты. Но я решительно отказался по причинам, о которых уже говорил выше. Среди монахов, с которыми я сталкивался в академии, был только один, нравившийся мне. Это был инспектор, которого любили все студенты, но и он мне казался сухим и ограниченным человеком. Меня тогда тревожили религиозные сомнения, но когда я ему о них сказал, он пришел в ужас и, заявив, что меня искушает сатана, посоветовал читать жития святых. В другой раз, когда мне очень нужны были деньги, я попросил инспектора дать мне в долг, так как я знал, что он может это сделать; он мне ответил, что должен сначала посоветоваться со своим духовником, который запретил ему давать в долг деньги. Я был сильно возмущен, так как этот духовник был священник, стоявший на более низкой ступени развития,

чем инспектор. Я подумал, что могло бы случиться, если бы человеческая жизнь зависела бы от такой помощи? И отказался ли бы Христос помочь своему ближнему под таким предлогом? Я написал инспектору письмо в таком смысле, и он, прочтя его, сейчас же за мной послал, пал к моим ногам, просил прощения и дал мне денег.

Я часто посещал собрания религиозно-философского общества, основанного митрополитом Антонием. Главная цель этого общества было соединение образованных классов с церковью. Сам митрополит казался мне либеральным человеком; что же касается духовенства вообще, я был более чем когда-либо убежден, что оно так поглощено обрядностью и догматами, что не может понять настоящую сущность религии. Лучшие их представители были постоянно озадачены вопросами Розанова, Минского и других ораторов. В это же время митрополит Антоний предложил мне место в провинциальной семинарии, но так как я решил посвятить себя деятельности среди рабочих, то я отказался и остался в С.-Петербурге.

На лето я нанял маленькую комнатку на Васильевском Острове, на 19-й линии, за 9 рублей, и ограничил свой ежедневный расход несколькими копейками. Мне очень хотелось совсем выйти из духовенства, но священническая ряса давала мне свободный доступ к рабочим, и потому я решил не делать этого и стал хлопотать о приходе в Петербурге.

Одновременно в моем мозгу зрела мысль оказать такое влияние на рабочие союзы, устроенные Зубатовым, которое совершенно парализовало бы усилия тайной полиции использовать их как опору самодержавия, и самому направить их на другой путь. Если у меня до сих пор и была малейшая вера в искренность зубатовских начинаний, то теперь она окончательно исчезла. Однажды он пригласил меня к себе, и, во время нашего разговора,

пришла телеграмма, в которой сообщалось об общей, только что состоявшейся стачке на юге России, организованной в ее источнике агентом Зубатова Шаевичем. Добродушное лицо Зубатова при чтении телеграммы внезапно изменилось, зловещее пламя сверкнуло в его глазах, и он прошипел: «Убить их всех, мерзавцев». Змея показала свое жало, — подумал я.

Мои друзья рабочие сообщили мне одновременно, что они слышали, что три лица, говорившие на митинге, были арестованы. Все же я решился воспользоваться Зубатовым для своих целей. Однажды он призвал меня и снова спросил, буду ли я ему помогать. В частности, он хотел, чтобы я написал доклад министру финансов Витте о собраниях рабочего союза, чтобы повлиять на него серьезностью рабочего движения. «Доклад, — сказал Зубатов, — должен быть написан так, как будто сами рабочие его составляли. Витте может быть нам очень полезен, и вы должны доказать ему, что профессиональная организация рабочих будет соответствовать его общей политике в государстве.

Я согласился написать такого рода записку, но не как член союза, а как частный наблюдатель, оправдываясь краткостью данного мне для этого времени. В течение долгого разговора Зубатов совершенно выяснил свои намерения. Витте, как автор протекционной системы и связанных с нею распоряжений, давших громадный искусственный прирост промышленности и торговли в текущем году, был всецело на стороне фабрикантов, и Зубатову необходимо было обеспечить себе его сочувствие, убедив его, что и фабрикантам будут выгодны умственное развитие рабочих и их организация в рабочие союзы, что и можно видеть на примере Англии, так как легче иметь дело с союзом, чем с отдельными личностями. Конечно, настоящая цель Зубатова была вовсе не умственное раз-

витие рабочих и не их организация; ему нужно было отвлечь рабочих от политической деятельности таким образом, чтобы они остались послушными правительству. Уверая их, что полиция их друг, Зубатов должен был доказать им, что он может добиться некоторых уступок со стороны нанимателей. В Москве вмешательство Зубатова между капиталом и трудом вызвало возмущение со стороны фабрикантов, и Витте принял сторону последних. Зубатов был поэтому теперь озабочен, как бы удалить возможность трений с могущественным министром финансов. У него был план, по которому фабричные инспектора, находящиеся в ведении министерства финансов, должны были перейти в его департамент, в министерство внутренних дел для того, чтобы сделаться его агентами. Соревнование между Плеве и Витте было в самом разгаре, и хотя Зубатов принадлежал к той партии, которая была в силе, но все же считал нужным, насколько возможно, примириться с Витте.

Когда наш разговор окончился, Зубатов достал из стола двести рублей и с дружественной улыбкой предложил мне их, как плату за доклад. Я не смел отказаться от денег, чтобы не возбудить подозрения, но сказал, что мне слишком много, и взял только сто рублей. Уходя от Зубатова, я сказал: «Это все хорошо, но зачем вы арестовали некоторых рабочих, которые были членами союза?». Зубатов отрицал это и продолжал отрицать, когда я упомянул о случае предательства молодой учительницы; у меня же, однако, было доказательство в противном.

Читатель, если он мирный и честный гражданин свободной страны, должен несомненно удивляться, как мог я, даже в таких ничтожных размерах, приобщиться к такому сомнительному делу, если я видел его в его настоящем свете. Но хотя я и был полон отвращения, чем ближе я знакомился с зубатовским движением, тем сильнее меня

угнетала мысль об отчаянном положении моих бедных соотечественников. Но само существование подобной организации доказывает, насколько условия русской жизни не похожи на условия жизни западных государств. Думаю, что ни в одном цивилизованном государстве не было бы возможно представителям полиции под покровительством и при содействии министров замыслить и свободно создать организацию рабочего движения, включительно до больших стачек, только в целях устранения настоящих руководителей рабочего класса и сохранения за собой контроля над этим движением.

Мне было ясно, что лучшие условия жизни наступят для рабочего класса только тогда, когда он организуется. Мне казалось, и мое предположение впоследствии подтвердилось, что кто бы ни начал эту организацию, в конце концов она станет самостоятельной, потому что наиболее передовые члены рабочего класса несомненно возьмут верх. Вот почему, после долгих колебаний, я решил, несмотря на испытываемое мною отвращение, принять участие в начальной организации и попытаться, пользуясь Зубатовым, как орудием, постепенно забрать контроль в свои руки. Сделав вид, что я согласен помогать этим слугам самодержавия, я получу свободу сношения с рабочими и избавлюсь от необходимости постоянно прятаться от полицейских сыщиков. Мне было очевидно, что настоящие революционеры имели мало влияния на народные массы потому, что могли действовать только тайно и в ограниченных кругах рабочих, так как остальная масса была им недоступна. Как священник, я имел еще и то преимущество, что мог входить в тесное общение с народом. Я полагал, что, начав организацию рабочих для взаимной помощи под покровительством властей, я могу одновременно организовать и тайные общества из лучших рабочих, избранных для этой цели, которых я воспитаю и кото-

рыми я буду пользоваться как миссионерами, и таким образом, мало-помалу, направлю всю организацию к желаемой цели. Когда мои собственные люди заменят назначенных по указанию полиции лиц и заслужат уважение и доверие всех рабочих, у меня будет группа помощников, готовых руководить народом в нужный момент. Я знал, что в настоящее время от меня отшатнется партия политических реформаторов и меня заподозрят в измене, но моя любовь к рабочим осилила мои колебания.

Я написал обещанный доклад, описав мирные собрания рабочих, которые собираются только для обсуждения своих нужд, и указал на ту пользу, которую могли бы принести подобные организации в экономике государства. Несколько представителей рабочего союза, согласно желанию Зубатова, доставили мой доклад Витте. Министр, прочитав его, равнодушно спросил:

— Это вы писали, братцы?

— Да, — отвечали они.

— В таком случае, вам бы сделаться журналистами, — сказал Витте и откланялся депутации.

Таким образом рушилась попытка Зубатова завербовать Витте. Но, недолго спустя, Плеве посредством целого ряда интриг подорвал доверие государя к Витте и сам сделался всемогущим. Тем временем, весной 1903 г., зубатовская организация в Петербурге шла малоуспешно, частью потому, что московские рабочие доказали своим товарищам, это это была только полицейская ловушка, частью потому, что некоторые из профессоров, обещавших читать лекции рабочим, отказались как из боязни общественного осуждения, так и потому, что члены революционных партий, приходя на эти лекции, предлагали докучливые вопросы лекторам. Все это очень не нравилось Зубатову; к тому же у него было много врагов.

8-го мая 1903 г. пять плотников, умных и честных, пришли ко мне в академию. Один из них, Васильев, шедший в знаменательный день 9-го января рядом со мною, убит, остальные живы, и я не могу их назвать. Они доказывали мне необходимость примкнуть к зубатовской организации для того, чтобы использовать ее в своих целях. Затем мы снова встретились в квартире одного из этих рабочих и после долгих убеждений я уступил. Тогда мы и организовали тайный комитет.

Затем я ходил к Зубатову, чтобы сказать ему, что я согласен помогать ему на условии, чтобы никто из членов союза не был арестован, так как иначе все дело погибнет, в особенности в виду слухов об арестах рабочих в Москве. Зубатов обещал это мне, и я спешу сказать, что все время, пока он был у власти, он держал свое слово. Тогда я стал организовывать группу будущих вожаков, частью из зубатовцев, частью из своих людей и готовить их, путем частых собеседований, к их будущей деятельности.

Не знаю, долго ли бы мне удавалось морочить Зубатова, так как, несмотря на все свои способности сыщика и смелость, он был недалководен, но сама судьба пришла мне на помощь, положив конец царствованию Зубатова.

Однажды он пригласил меня обедать в дом своего личного и ближайшего помощника в деле преследования революционера, Мельникова. Там меня представили генералу Скандракову; в числе гостей были и другие агенты Зубатова: доктор Шаевич и Гурович. Шаевич доказывал мне необходимость местных стачек, как средства держать рабочих в руках. Зубатов не разделял этого мнения, но я понял что он давал свободу действий своим агентам в некоторых местностях, и вскоре после того некоторые из них применили свои теории на практике и тем погубили себя и Зубатова. Одна из подобных стачек была устроена в Минске, при чем полицейские агенты Зубатова потеряли

над рабочими власть и, по требованию местных властей и работодателей, были удалены министром внутренних дел. В Одессе пошло еще дальше. Доктор Шаевич, действуя через представителей рабочих союзов, создал небольшую стачку, но она распространилась подобно пламени и охватила порт; забастовали тысячи рабочих, и город был близок к анархии. Шаевич окончательно потерял голову, отказался руководить стачкой и спрятался. Местные власти и работодатели, крайне встревоженные и подстрекаемые врагами Зубатова, сделали обыск в доме Шаевича и арестовали его. Зубатов старался сложить с себя всякую ответственность в этом деле, но, к несчастью, у Шаевича было найдено письмо, подтверждавшее его участие в этом деле, и это вызвало его падение. Шаевич был сослан в Вологду. Зубатова лишили места и отправили в один из городов центральной России. Что с ним теперь, я не знаю, но знаю, что благодаря генералу Трепову, теперешнему диктатору, и великому князю Сергею Александровичу, он получил большую пенсию.

С исчезновением Зубатова, петербургская организация рабочих осталась в неопределенном положении, так что, когда в августе 1903 г. ко мне пришла депутация из пяти рабочих, членов тайного комитета, с просьбой взять все дело в свои руки, я согласился; и в конце августа я приступил к такой организации рабочих обществ, в которой воплотились бы мои собственные мысли относительно тех основ, на которых только и возможно прогрессивное улучшение условий рабочего класса и достижение гражданской свободы.

У нас уже была группа, приблизительно в 17 человек, интеллигентных рабочих, частью из членов моего тайного комитета, частью из выбранных мною во время моих собеседований людей, с которыми можно было начать действовать. Мы наняли помещение на Выборгской стороне

и устроили там чайную. Заведующий был избран самими рабочими на три месяца. Днем он работал на фабрике, так как чайная открывалась только от 7 часов вечера до 12 ночи и в субботу от 2 ч. дня. Платы за это он не получал никакой. В чайной продавались только чай и минеральные воды; все крепкие напитки были запрещены. Квартира состояла из нескольких маленьких комнат и большого зала для собраний, в котором собирались три раза в неделю. По средам и субботам мы собирались и обсуждали книги и статьи по рабочему вопросу, при чем я иногда касался политических и экономических вопросов. Каждый митинг начинался и кончался молитвой. Рабочие со стороны принимались очень дружелюбно, и из них был выбран контролер над чайной. Точность, с какою велось дело отчетности, быстро завоевала доверие населения рабочих.

Спустя некоторое время я решил поставить дело на более твердом основании. До сих пор оно не было санкционировано правительством и подвергалось опасности быть уничтоженным в любой момент. Поэтому я написал доклад министру внутренних дел о необходимости выработать устав для рабочих организаций и представил его через градоначальника Клейгельса, как того требовали установленные правила. Во время свидания с Клейгельсом, мы пространно обсуждали этот вопрос. Затем мне предложили отправиться к директору Департамента полиции Лопухину по этому же делу. Тот принял меня весьма любезно, и, когда я сказал, что у нас нет библиотеки и мы нуждаемся в книгах и газетах, он удивил меня вопросом, сколько мне надо денег для этой цели. Вскоре, к моему отвращению, я получил из министерства внутренних дел около 60 руб. со строгим предписанием подписываться только на консервативные газеты.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

„Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Петербурга“

Тем временем я окончил свою диссертацию, нанял маленькую комнатку и стал искать места священника, чтобы было чем жить. У меня было очень мало денег, и я расходовал их с большою осмотрительностью. Не знаю, как митрополит Антоний узнал об этом, но накануне Рождества посланный от него принес мне маленький конверт со вложением ста рублей. На другой день я пошел поблагодарить его, и он предложил мне свободную вакансию в пересыльной тюрьме. Я послал прошение и через несколько дней получил ответ, что, несмотря на массу кандидатов, я получил назначение.

Мы назвали наше общество (избегая этого слова, чтобы не возбуждать подозрения) «Собранием русских фабрично-заводских рабочих г. СПбурга». Основною целью его было укрепление в русском рабочем его национального самосознания и развитие его сил для самопомощи. Средством для достижения этой цели предположено было устройство чайных, потребительских обществ, клубов, чтение на различные экономические и другие темы и устройство взаимопомощи, при чём при болезни, несчастных случаях, или неспособности к работе, помощь должна быть выдаваема возможно скорее.

В начале ноября все агенты Зубатова были единогласно исключены из общества, и им был запрещен даже вход в наше учреждение. 9 ноября семнадцать ответственных членов нашей организации пришли к Клейгельсу, чтобы представить ему устав; мне и самому приходилось часто

бывать в Департаменте полиции, чтобы ускорить его прохождение по бесконечным бюрократическим инстанциям. Обыкновенно утверждение уставов тормозится годами, наш же был утвержден через три месяца, хотя, увы, в очень искаженном виде. Когда состоялось наше первое заседание, один из старейших рабочих, по прозвищу дедушка Яков, предложил пригласить отца Иоанна Кронштадтского, чтобы отправить торжественное богослужение, но это было отвергнуто большинством голосов, недовольных тем, что отец Иоанн изображал из себя чудотворца.

Не могу не сказать несколько слов о моих встречах с этим замечательным священником. Его манера раздавать на улице большие суммы денег, привлекала в Кронштадт массу нищих, которая только и жила подающим и все более и более теряла охоту к честному труду. Первый раз я встретился с ним на освящении церкви в Ольгинском приюте. Отец Иоанн был приглашен совершить богослужение вместе со мною и еще одним священником. Я внимательно всматривался в него. Он небольшого роста; глаза его пронизательны, борода короткая, седая; движения резкие, нервные; одет он был в великолепную рясу. Перед началом богослужения в церковь вошел какой-то генерал, и я убедился тогда, что отец Иоанн очень наблюдательный и практичный человек. Вскоре я встретил его в доме одного купца, где он также совершал богослужение. Его сопровождала одна из 12-ти его постоянных спутниц, одетая в белое, поведение которой было скорее кривлянием, чем поклонением. Затем нас пригласили к столу, и отец Иоанн и я сели, а толпа стала кругом нас на колени. Иоанн ел и пил с большим аппетитом, несколько не стесняясь. Я также был голоден, но мое внимание было вскоре отвлечено тем, что, окончив тарелку, или выпив стакан, отец Иоанн снова наполнял их и передавал их ближайшему к нему лицу, которое, благоговейно попробовав,

передавало его следующему; таким образом тарелки и стаканы отца Иоанна обходили всю комнату. Зрелище это казалось мне унижительным.

Когда новая церковь Красного Креста была окончена, княгиня Лобанова - Ростовская пригласила меня и отца Иоанна совершить богослужение. Был там и третий священник, молодой студент академии. Нас с отцом Иоанном затем пригласили к столу, но студента почему-то демонстративно не позвали. Мне стало так стыдно, что я незаметно ушел и пригласил молодого человека к себе. Однако, в другой раз, проповедуя в техническом училище, отец Иоанн произвел на меня сильное впечатление силою своей проповеди и очевидной искренностью. Он говорил о смерти и воскресении и сказал, что каждый человек ежедневно умирает и воскресает и что каждый безнравственный поступок наполняет сердце чувством смерти, а всякое стремление к добру наполняет его славой новой жизни.

Иногда он приезжал в академию, где студенты прямо обожали его. Мне часто приходилось говорить с кронштадтцами, хорошо его знавшими; в общем, все соглашались в том, что его щедрость и его влияние на толпу были развращающими. Особенно поражало его равнодушие ко всем предложениям выработать радикальные меры к улучшению быта нуждающихся и обездоленных. Он был в близких отношениях со всеми врагами и притеснителями народа. Эти 12 барынь, о которых я говорил, большинство которых были жены или незамужние дочери купцов, оказывали на него дурное влияние. Каждая из них дежурила при нем по неделе и в это время направляла жизнь отца Иоанна, стараясь заручиться возможно большим числом богатых домов, посещение которых оплачивалось по очень высокой цене. Таким образом, его молитвы были чисто коммерческим предприятием; бедных же он посещал очень редко. Не думаю, чтобы это была его вина; но, как че-

ловец ограниченный, он стал орудием, в политическом смысле этого слова, в руках правящих классов. Он очень чувствителен к рекламе, и хотя и раздает большие суммы, но очень богат. Его неискренность ясно сказалась после кишиневского погрома. Сперва, под влиянием минуты, он написал воззвание, в котором строго осуждал убийство евреев, но затем, под давлением властей, написал другое, в котором, оправдываясь в высказанных им упреках, обвинял евреев, как инициаторов убийств.

Можно из всего этого понять, что я не особенно был огорчен тем, что отец Иоанн не будет приглашен на наше собрание. Затем я отправился к митрополиту Антонию просить его согласия на приглашение епископа Сергея, ректора академии. Хотя митрополит, как и всегда, принял меня благосклонно, но не только не дал своего согласия, но даже хотел запретить мне принять должность председателя в случае, если меня выберут.

— Я знаю, — сказал он, — что они хотят устраивать музыкальные вечера с танцами, и как можете вы, как священник и член церкви, иметь что-либо общее с такими затеями?

— Но, — ответил я, — мне кажется, что это как раз то, что члены церкви должны делать. Слуга Христа должен показать народу не только словами, но и делом, что он их руководитель. Вы не можете отрицать того, что жизнь наших рабочих ужасна: у них нет никаких радостей, и они принимаются за пьянство. Надо им дать какие-либо здоровые развлечения, если мы хотим их сделать трезвыми и нравственными. И мы также должны стараться улучшить их материальное положение, если мы хотим им помочь перейти к лучшей жизни. Помощь народу — задача церкви. Я должен откровенно сказать, что, если церковь не сблизится с народом, то пастырь скоро останется без паствы. Уже почти вся интеллигенция,

имеющая влияние на народ, оставила церковь, и, если мы теперь не поможем массам, они также от нас уйдут.

Митрополит казался несколько взволнованным, но сказал, что Христос стремился только к возрождению душ, а поэтому и нам надо заботиться только о внутренней жизни народа.

Я был возмущен его замечанием и спросил, что, если это так, то почему мы не говорим богатым того, что он хочет, чтобы мы говорили бедным.

Однако, он был непоколебим. Я тем более был огорчен, что, действительно, его любил и считал его способным встать на новый путь, а оказалось, что он просто робкий дипломат. Но рабочие мои были очень довольны и, очевидно, не желали дальнейшего вмешательства духовенства, исключая меня. Позднее, когда мы обсуждали рисунок печати, я предложил включить в него небольшой крест, но они возражали, пока я им не объяснил, что крест символ самопожертвования.

11 апреля 1904 года состоялось открытие «Собрания русских фабрично - заводских рабочих г. Петербурга». Около полутора ста человек собралось на церемонию, и, после речей ораторов - рабочих, начались музыка и танцы. Я с тревогой всматривался в ближайшее будущее, но вскоре мой страх прошел. На первом же вечере присоединилось к нам 73 человека и сделали взносы. К концу первого месяца у нас было уже триста членов. Несмотря на повторные отказы, я был выбран представителем.

Наконец - то у меня была твердая почва под ногами для осуществления моих планов. Я всецело отдался организации и развитию союза, присутствовал на всех собраниях, образовал массу рабочих кружков для изучения истории промышленности и политических вопросов. Несколько профессоров взялись помогать мне в этом деле. Но все внимание мое было обращено на то, чтобы деятельность

чайных и сбор взносов стояли вне всяких подозрений и в то же время находились в руках самих рабочих.

Мне часто приходилось ходить к управляющим фабрик и в мастерские, чтобы добиться какого-либо улучшения в условиях труда, или чтобы сгладить возникшие недоразумения, или чтобы найти кому-либо место. Часто предприниматели, которым не нравилось мое вмешательство, обращались со мною очень грубо. Мои маленькие комнаты на Церковной улице далеко за полночь были полны рабочих, их жен и родных. Одни приходили, чтобы поговорить о нашем деле, другие — чтобы получить помощь, третьи, наконец, чтобы пожаловаться на своих мужей, или отцов, которых я должен был убеждать. И, хотя у меня не было ни минуты покоя, это было счастливейшее время моей жизни.

Самый лучший день был суббота, когда члены тайного комитета и еще несколько верных людей собирались у меня, чтобы потолковать о нашем общем деле. Рабочие снимали свои пиджаки, а я — свою рясу, и, тем не менее, было душно. Мы говорили до рассвета, так что некоторые шли от меня прямо на работу. Я сознавал, что теперь моя жизнь не беспцельна и не бесполезна. О себе мне некогда было думать. От пересыльной тюрьмы я получал около 2-х тысяч жалованья и отдавал их на дело. Одежда моя была в лохмотьях, но это меня не заботило. Дело шло великолепно, и, открывая собрание, я говорил рабочим, что основание нашего союза станет эпохой в истории рабочего движения в России; и если они напрягут все усилия, то станут орудием спасения для себя и для своих товарищей.

Иногда мне приходилось ходить к новому градоначальнику Фуллоу, заменившему Клейгельса, чтобы просить его воздействия для достижения некоторых уступок со стороны работодателей. Фуллон отнесся сперва недоверчиво ко мне и к моему делу.

— Все это хорошо, — сказал он, — но революционеры будут приходить на ваши собрания и говорить там.

— Пускай приходят, — сказал я, — мы их не боимся, мы действуем открыто. И при этом я прибавил, что мы нуждаемся в большем, чем сочувствие генерала; мы нуждаемся в том, чтобы он верил, что, если он встретит в нашем обществе кого-либо из ранее заподозренных, то верил бы, что эти люди сами поняли, что лучше примкнуть к законному образу действий. Фуллон был простодушен и добр, и ни в его натуре, ни в его предыдущей карьере не было ничего полицейского. Раньше он служил в Варшаве и так ладил с поляками, что немедленно был вызван в столицу. Чтобы обеспечить свое дело, я обратился к генералу Скандракову и агенту полиции Гуровичу с просьбой ходатайствовать за меня перед Фуллоном. Мало-помалу Фуллон стал благосклоннее ко мне, и мне удалось получить от него обещание, что ни один рабочий из союза не будет арестован, так как это подорвало бы в корне доверие к делу и вынудило бы меня отказаться от него. Насколько была важна для меня поддержка Фуллона в критические моменты последующих месяцев, вы сами увидите.

Тем временем я продолжал исполнять свои обязанности в пересыльной тюрьме, находящейся недалеко от казачьих казарм. В этой тюрьме содержатся в общих камерах, так как она служит местом заключения для приговоренных к ссылке в Сибирь, или высылаемых из столицы по месту жительства. Политические преступники там весьма редки. Начальник этой тюрьмы был отличный человек, немец по происхождению. Благодаря его высокой гуманности, порядок в тюрьме был образцовый. Организованные работы выполнялись, и заключенные имели заработанные деньги ко дню выхода из тюрьмы. Предшественник мой устраивал собеседования с заключенными на ре-

лигиозные темы, но, кажется, безуспешно. Я продолжал эти собеседования, но расширил программу, давая заключенным возможность высказаться самим по затронутым вопросам, вводя различные вопросы из текущей жизни, и для большего интереса устроил волшебный фонарь. В каждом, даже самом закоренелом преступнике я находил крупицу добра, так как в их преступлениях ненормальные условия их предыдущей жизни были более виновны, чем их злая воля.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Убийство Плеве

Субботы, воскресения и понедельники я проводил частью в тюрьме, частью среди рабочих, а остальные дни всецело посвящал рабочим. В мае 1904 года я послал несколько из самых благонадежных моих людей на Путиловский завод, находя, что наступило время попытаться организовать сплоченную массу из 13 тыс. рабочих. В конце месяца на наши собрания пришло уже 50 человек с этого завода с просьбой организовать их так же, как я организовал моих рабочих, что я и исполнил, и это была первая ветвь нашего основного союза. Отказавшись от представительства в своем союзе, я сделался представителем нового отдела.

Первым делом мы наняли большой дом за Нарвской заставой, в котором была зала, способная вместить две тысячи человек. К моему великому удовольствию, генерал Фуллон принял мое предложение присутствовать на собрании при открытии первого отдела союза. Мы сели вокруг большого стола, я на конце стола, по правую руку от меня градоначальник. Затем я сказал несколько слов, в которых напомнил собранию, что оно не должно забывать,

что наш союз разрешен нам правительством, и в заключение попросил генерала Фуллона сказать от себя несколько слов рабочим. Фуллон согласился и характерным военным языком сказал:

— Я счастлив видеть вас на этом дружеском и разумном собрании. Я солдат. В настоящее время родина наша переживает тяжелое время благодаря войне с далеким и лукавым врагом на далекой окраине. Чтобы с честью выйти из этого испытания, вся Россия должна объединиться и напечь все свои силы. В единении сила. — Эта коротенькая речь была встречена громом аплодисментов, что, очевидно, очень понравилось Фуллому, и он оставил собрание в отличном расположении духа. На всех последующих открытиях отделов союза Фуллон везде повторял эту речь буквально. По уходе Фуллона, я, воспользовавшись последними словами его, стал с жаром говорить собравшимся о необходимости единения между всеми рабочими.

В конце июня нарвский отдел союза насчитывал 700 членов. Мои помощники вербовали самых влиятельных людей различных отраслей труда для нашего союза. На многих фабриках были потребительские общества, находившиеся в ведении директоров и управляющих, которые получали громадные барыши, товар же продавали плохой и дорогой, вводили рабочих в долги и закрепощали рабочих этими лавками. И, действительно, это был только обман. Я объяснил рабочим, что дело это они должны взять в свои руки. Эта мысль была у нас одним из популярнейших вопросов. Революционеры, главным образом студенты, часто приходили на наши собрания с целью сорвать их и привлечь рабочих на свою сторону. Я предоставлял им свободный доступ на наши собрания, находя, что их аргументация только увеличивает интерес наших дебатов, так как лучшие из наших членов легко разбивали их.

Около того времени меня пригласили в охранное отделение и предложили мне большую сумму денег для нашего общества. Как мне ни горько было принять даже и часть, но, чтобы отвлечь подозрение, я взял четыреста рублей и внес эту сумму в наши книги, как анонимный дар. Впоследствии я слышал, что русский посол во Франции упрекал меня в том, что я брал деньги от правительства и эти же деньги употреблял против него. Он, очевидно, забывал, что эти деньги были взяты из народного кармана, и я их только возвращал тому, кому они принадлежали.

В июне 1904 г. я получил письмо от генерала Скандракова, в котором он мне сообщал, что московское общество, основанное Зубатовым и находящееся теперь под особым покровительством Трепова и вел. кн. Сергея, очень заинтересовано моей работой и что редактор официозной реакционной газеты «Московские Ведомости» Грингмут находится теперь в С.-Петербурге и желает со мной познакомиться. Меня предупредили, что я должен быть настороже с ним, и, безусловно, этот высокий старик с вкрадчивыми манерами, показался мне хитрым и коварным человеком. Это, однако, не помешало мне в течение разговора, полусерьезно, полушутя, заметить ему, что, если он желает успеха московскому обществу, то все полицейские агенты должны быть немедленно удалены, а один из моих рабочих поставлен во главе. Грингмут пригласил меня посетить его в Москве, и я попытался организовать в Москве и других больших городах России общества, подобные нашему, так как неоднократно получал подобные просьбы. Я отправился в Москву в июле, но перед этим Фуллон предупредил меня от имени Плеве, что мне следует быть осторожным с московским обществом и не вмешиваться в него. Очевидно, Грингмут уже донес на меня, и Плеве боялся поссориться с вел. кн. Сергеем.

Вскоре после этого всемогущий министр внутренних дел

был убит членом боевой организации партии социалистов-революционеров. Плеве очень интересовался моей работой, и один из моих друзей однажды слышал, как он сказал: «Я не думаю, чтоб революционеры имели бы большое значение. Их бояться нечего. Я опасюсь рабочего движения. Пока что у нас два вида рабочей организации — зубатовская, которая всецело в руках полиции, и гапоновская, которая полицию тщательно избегает. Пока я еще не знаю, каково будет их настоящее значение». Что случилось бы, если бы Плеве уцелел — сказать трудно. Он успешно двадцать лет подавлял всякий порыв к свободной жизни и карал тех, кто желал родине дать свободу, но все же, несмотря на его искусство, движение протеста и освобождения неуклонно росло, пока, наконец, не достигло кульминационной точки. Конечно, мне было гораздо лучше и проще иметь дело с любезным градоначальником, но наша неподдельная рабочая организация была уже прочно основана, и даже, если бы Плеве остался жив, кризис должен был скоро наступить.

Я посетил Москву, Харьков, Киев, Полтаву и другие города. В Москве я убедился, что власти были уже предупреждены и что мне нечего рассчитывать на успех. Присутствуя на одном из собраний зубатовского союза, я горячо протестовал против вмешательства полиции в рабочую организацию. Был я и у Грингмута, где встретился с ренегатом Львом Тихомировым, который произвел на меня жалкое впечатление. Из того, что я видел в Киеве и Харькове, я убедился, что разумнее было сперва заняться упрочением петербургской организации рабочих, чем расходовать энергию на организацию рабочих в провинции.

Перед возвращением своим в Петербург я провел некоторое время в деревне у своего отца, и, так как финансы мои, благодаря моим расходам на петербургский союз,

были в весьма плохом состоянии, и, кроме того, мне необходимо было нанять гувернантку для моих детей, я попросил отца заложить его дом и землю. Отец исполнил мое желание, и вручил мне 750 руб.

Как раз в это время принесли телеграмму, сообщавшую об убийстве Плеве 15-го июля 1904 г. Я лично был очень огорчен смертью Плеве, так как надеялся повлиять на него в смысле получения правительственной ссуды, чтобы дать возможность рабочим столицы приобретать дома в собственность. Кроме того, я уважал Плеве за твердость его воли, энергию и ум. Лица, с которыми мне приходилось говорить об убийстве Плеве, в большинстве случаев относились к нему безразлично, и только немногие высказывали сожаление. В ту минуту ничто не указывало на то, что убийство это внесет какие-либо перемены в правительственную политику.

Я быстро прервал свой отпуск и вернулся в Петербург, так как некоторые члены моего тайного комитета писали мне, что началось разногласие между различными отделами союза. Одновременно стало известным, что вел. кн. Сергей написал Плеве донос на меня. К счастью, донос запоздал — Плеве был уже убит, а градоначальник Фуллон заболел, и к тому времени, когда он выздоровел, обстоятельства настолько переменились, что дело мое было забыто и мне легко было вернуть себе расположение Фуллона.

Чтобы восстановить мир между членами союза, я устроил 6-го августа вечер в большом зале Павлова — одном из лучших помещений в Петербурге. Рабочие, около тысячи человек, пришли большой толпой с их женами и детьми. На этот вечер я пригласил известных артистов, чтобы они пели и играли. Кроме того, у нас был свой духовой оркестр. Собрание открылось многочисленными ре-

чами, посвященными делу союза; на столе лежали чертежи и отчетные книги, чтобы каждый мог сам убедиться в честности и целесообразности делопроизводства. Генерала Фуллона, снова посетившего нас и проходившего к столу, рабочие встретили радостными восклицаниями. Я знал, что теперь я могу на него рассчитывать. Мужчины и женщины были весьма довольны, что находятся в великолепном зале, в центре города, на своем собственном вечере и слушают концерт.

Со всех концов столицы стали поступать ко мне просьбы об открытии новых отделов союза, и хотя, в виду скудости средств, мы должны были быть расчетливыми, но в октябре у нас было уже 9 отделений с 5-ю тысячами платных членов, а в следующем месяце уже одиннадцать — с семью тысячами членов. Два месяца спустя, когда уже началась общая забастовка, мы насчитывали 20 тыс. членов, и если бы мы могли действовать еще несколько месяцев без помехи, то вероятно, что к нам примкнули бы все рабочие всего Петербурга. Не следует забывать, что это была единственная прочная рабочая организация в России.

Для каждого нового отдела союза мы нанимали большое помещение, и излишне описывать то удовольствие, с каким рабочие и их семьи собирались в эти клубы после дневной работы. Сначала женщины очень восставали против этих собраний, говоря, что мужчины так увлекутся, что будут все время проводить там. Тогда мы решили, что женщины каждого отдела будут иметь для своих собраний один день в неделю, и это успокоило их.

При открытии коломенского отдела произошел неприятный случай. Генерал Фуллон, все более и более интересовавшийся нашими собраниями, пригласил фотографа снять всех присутствовавших, включая его и меня. Мне это очень не понравилось, так как я предвидел время,

когда начнется смута, и полиции эта фотография будет очень полезна; но я счел лучшим не возбуждать подозрения.

Когда я окончил окропление нового здания святой водой и рабочие стали подходить целовать крест, то некоторые из них целовали при этом руку Фуллона. Это так возмутило меня и моих помощников, что я на этот раз не мог скрыть своих чувств, и, когда генерал Фуллон уехал, я горячо стал говорить с рабочими. Рассказал им историю бедного Лазаря, разъяснил им, что на свете есть бедные и богатые и отношения между ними никогда не могут быть хорошими. Фуллон на стороне богатых, и ему нет никакого дела до бедных, и если он оказывает им какие-либо милости, то это только евангельские крохи Лазаря со стола богатого, и заключил упоминанием о сохранении собственного достоинства и самоуважения.

Все отделы союза были связаны между собой совместной работой, направленной на преуспевание рабочего движения. С этой целью мы пригласили поляков, финнов и евреев примкнуть к нам. Через шесть месяцев своего существования, наш союз стал приносить доход, и мы открыли потребительские лавки и чайные.

Война в Манчжурии, длившаяся уже почти год, не повлияла на нас в том размере, как она повлияла на некоторые города на юго-западе и востоке империи. Вначале рабочие хотя и не высказывали интереса к войне, все же сочувствовали ей, желая побед русскому оружию и предполагая идти добровольцами. «Япошки, наверное, скоро будут разбиты», — с насмешкой говорили они. Но вскоре настроение изменилось. Слух о том, как офицеры в Порт-Артуре танцевали в тот момент, когда японцы минами атаковали наш флот, вызвал большое негодование. Позднее же, когда выяснилась вся неспособность вождей армии и флота, все злоупотребления, вся деморализация, и

когда, наконец, поражение за поражением стали сыпаться на головы самоотверженного войска, рабочие возненавидели войну и все смелее и смелее стали критиковать ответственное и во всем виновное правительство. Я стал раз'яснять рабочим все происходящее, и они, слушая о том, сколько Куропаткин взял с собою икон, саркастически улыбались.

Большое влияние на рабочее движение имела перемена в отношениях правительства к интеллигентным классам, так называемая «весна», начавшаяся с назначением князя Святополк - Мирского на место Плеве. Убийство Плеве нанесло смертельный удар бюрократической системе, и на время правительство, основательно напуганное, не имело смелости даже пытаться подавлять многочисленные демонстрации прогрессивного направления, которые последовали немедленно. Это и была та возможность, в которой я так нуждался. Как только стало немного свободнее, я пригласил студентов и других образованных людей читать лекции во всех наших отделениях по различным политическим вопросам, как, например, различные формы правления, для того, чтобы подготовить эти тысячи рабочих, на которых наше влияние все усиливалось, к наступавшему кризису народной жизни. Я старался сблизиться с соц. - демократами и соц. - революционерами, чтобы, в случае надобности, мы бы все могли работать вместе, но они сторонились и относились с подозрением к моей организации благодаря благосклонному отношению к нам Фуллона.

В ноябре 1904 г. состоялся большой съезд земских деятелей, сопровождавшийся петицией присяжных поверенных о восстановлении законности и свободы. Я не мог не видеть, что близок момент, когда свобода будет вырвана из рук притеснителей, и в то же время страшно боялся, чтобы, за отсутствием поддержки со стороны народных

масс, борцы за свободу не потерпели поражения. На одном из совещаний с интеллигентными либералами, я спросил их, каким образом рабочие могут содействовать борьбе. Те посоветовали мне, чтобы и рабочие с своей стороны написали петицию правительству; но я не верил, чтобы она имела успех, если не будет сопровождаться большой рабочей забастовкой. В это время я еще верил в добрые намерения царя, находясь под влиянием слов Нарышкиной. Некоторые конституционные права мне казались абсолютно необходимыми. Я представлял себе царя чрезвычайно добрым и благородным и считал, что, если обратиться к нему непосредственно с такой просьбой, то он немедленно ее исполнит. В самом начале, восемь месяцев тому назад, я высказал свое мнение о таковой петиции членам тайного комитета.

Я собрал у себя на дому 32 человека из наиболее просвещенных рабочих и много читал с ними и обсуждал программу того, что мы называли рабочей петицией. Несмотря на то, что рабочее движение началось так недавно и развивалось с такой быстротой и нам так неожиданно пришлось выступить публично, — несмотря на все это, мы были крепко сплочены и воодушевлены относительно содержания этой петиции. Мы отнеслись к делу очень серьезно и, предварительно, торжественно поклялись хранить полную тайну; также условились мы, чтобы, в случае ареста одного из членов комитета и отказа освободить его, поддержать наше требование забастовкой. В это же время владельцы фабрик и заводов, встревоженные быстрым развитием нашего общества и независимой манерой его членов держаться и испуганные возрастающей силой «собрания», решили последовать примеру Зубатова и пригласить некоторых из его агентов для организации официального союза для конкуренции с нашим. Но, несмотря на покровительство хозяев, несмотря на повышения членов

союза по службе, союз этот не развивался, так как рабочие относились к нему крайне недоверчиво.

Хотя требование обществом реформ и разрасталось в колоссальных размерах, но мне казалось, что наша рабочая петиция должна быть подана только в один из критических моментов, вроде падения Порт - Артура, поражения эскадры Рождественского, казавшегося неизбежным, но и при таких обстоятельствах необходимо было поддержать ее соединенными усилиями рабочего класса. В начале декабря я созвал председателей отделов союза на совещание для обсуждения способа проведения более широкой агитации.

Та небольшая кучка свободолюбивых людей, которая до того служила идее свободы, была подобна утлому челну, плывущему по бурному морю, и, несомненно, должна была погибнуть, если вся масса рабочих не поспешила бы на помощь. Если же она действительно шла навстречу требованиям рабочих классов, то для успешности действий необходимо было изменить и расширить программу реформ. Я сознавал, что правительство только в том случае отнесется серьезно к поданной нами петиции, когда мы будем грозить ему поддержать ее забастовкой всего рабочего населения Петербурга. Все согласилось с моим мнением и занялись выработкой плана пропаганды.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Начало кризиса

Я лично не видел еще необходимости спешить, но обстоятельства неожиданно заставили нас действовать. Кризис был вызван самими фабрикантами. Наш союз был всего более организован на Путиловском заводе, насчитывавшем до 13 тыс. рабочих. Завод этот считается одним

из величайших по выделке пушек большого калибра и пулеметов; только заводы Армстронга и Круппа еще больше. Поэтому интересно сказать несколько слов об условиях труда на нем и на других заводах С.-Петербурга.

Завод этот разделен на 18 или 20 отделений с многочисленными мастерскими. Небо еще издали кажется черным от дыма, и шум машин оглушает вас при входе в мастерские.

Положение рабочих на этом заводе сравнительно лучше, чем на заводах текстильных, и металлисты обыкновенно получают больше жалованья, чем ткачи и текстильщики. Рабочие здесь не живут в бараках, как обыкновенно на других русских фабриках, но отдельно в большом пригороде, окружающем завод. Обыкновенно рабочий нанимает комнату для себя и своей, по большей части многочисленной, семьи, но многие из них не имеют средств, чтобы это сделать и ютятся по несколько семей в одной комнате. Мастера и помощники получают лучший оклад и живут сравнительно прилично. Положение на бумагопрядильных производствах много хуже. Здесь жалованье ничтожное и условия жизни ужасны. Обыкновенно какая-нибудь женщина нанимает несколько комнат и пересдает их, так что часто по десяти и даже больше человек живут и спят по - трое и больше в одной кровати без различия пола.

Нормальный рабочий день, по закону 1897 г. (изданному после большой стачки 1896—1897 г.), одиннадцать с половиною часов. Но циркулярами министерства финансов разрешаются сверхурочные работы; поэтому средний рабочий день нужно считать в 14 или 15 часов. Я часто наблюдал эти толпы бедно одетых и истощенных мужчин и женщин, идущих с заводов. Ужасное зрелище. Серые лица кажутся мертвыми, и только глаза, в которых горит огонь отчаянного возмущения, оживляют их. Но, спрашивается, почему они соглашаются на сверхурочные часы?

По необходимости, так как они работают поштучно, получая очень низкую плату. Нечего удивляться, что такой рабочий, возвращаясь домой и видя ужасную нужду своей домашней обстановки, идет в трактир и старается заглушить вином сознание безвыходности своего положения. После 15 или 20 лет такой жизни, а иногда и раньше, мужчины и женщины теряют свою работоспособность и лишаются места. Можно видеть толпы таких безработных ранним утром у заводских ворот. Так они стоят и ждут, пока не выйдет мастер и не наймет некоторых из них, если есть свободные места. Плохо одетые и голодные, стоящие на ужасном морозе, они представляют собой зрелище, от которого можно только содрогаться — эта картина свидетельствует о несовершенствах нашей социальной системы. Но и здесь подкуп играет отвратительную роль — нанимают только тех рабочих, которые в состоянии дать взятку полицейским или сторожам, являющимся сообщниками мастеров.

Эти пасынки нашего общества в С.-Петербурге уже хорошо понимают несправедливость своего положения и нехристианские отношения между капиталом и трудом. И как могло быть иначе? Они видели, как каждое утро молодых девушек, наравне с мужчинами, раздевали и обыскивали перед началом работы. Трудность получения работы увеличивалась отсутствием трудовой регистрации. Часто ко мне обращались рабочие со словами: «Я работал 20 лет на одном месте и теперь мне отказали. У меня нет дома в деревне, и я знаю, я чувствую, что и я и моя семья погибли».

Как мало нужно, чтобы утешить этих страдальцев. От одного доброго слова лица их светились благодарностью и надеждой. Вот где обширное поле деятельности для служителей церкви. Кроме проповеди трезвости и смирения, они ничего не делают. Полное отсутствие прав, как лич-

ных, так и общественных, еще сильнее увеличивает ожесточение рабочих. Каждый представитель владельца, от директора до последнего мастера, может уволить рабочего. Каждый стоящий на более высокой ступени имеет право неограниченного угнетения своих подчиненных. Этим беззаконием и можно объяснить сильное развитие хулиганства в русских городах.

В декабре на Путиловском заводе, без видимой причины, были уволены четыре человека. Два из них очень давно служили на заводе, а два других уже семь лет. Несомненно, увольнение было вызвано тем, что они принадлежали к нашему союзу, так как, рассчитывая их, им сказали: «несомненно, ваш союз поддержит вас». В течение двух недель я лично не вмешивался в это дело, ожидая, что рассчитанные рабочие будут снова приняты после всего, что было сделано, чтобы повлиять на фабричную администрацию. Когда же все усилия оказались тщетными, я считал своим долгом перед союзом стать на защиту исключенных и довести дело до конца, каков бы он ни был... Если мы оставим уволенных на произвол судьбы, доверие к нашему союзу неизбежно и навсегда поколеблется, не говоря уже о том, что это поощрило бы произвол. Если же нам удастся отстоять их, престиж нашего союза неизмеримо поднялся бы в глазах рабочих. Первым делом я направил рассчитанных рабочих к директору завода Смирнову и к фабричному инспектору, но там их постигла неудача.

19-го декабря я собрал 12 делегатов отделов союза, чтобы обсудить этот вопрос. Одновременно я пригласил и делегатов революционной партии, и это было впервые, что они были приглашены и присутствовали на нашем собрании. Собрание, кроме того, обсуждало некоторые изменения в уставе, а также и вопрос о переименовании названия нашего общества; был поднят также вопрос об издании своей газеты и об открытии отделов в других городах.

Собралось около трехсот рабочих; присутствовали корреспонденты некоторых газет. Все деловые предложения были приняты, и мне поручено выхлопотать разрешение правительства. После тщательного расследования было установлено, что рабочие были уволены несправедливо. Предложенная мной резолюция была единогласно принята; она состояла в уведомлении правительства через градоначальника, что: 1) отношения труда и капитала в России ненормальны, что особенно замечается в той чрезмерной власти, которой пользуется мастер над рабочими; 2) попросить администрацию Путиловского завода уволить мастера Тетявкина, как главного виновника увольнения четырех рабочих; 3) немедленно принять обратно четырех рабочих, уволенных за то, что они состояли членами нашего союза; 4) сообщить градоначальнику и фабричному инспектору эти обстоятельства и попросить их употребить свое влияние, чтобы впредь такие поступки не повторялись; 5) если эти законные требования рабочих не будут удовлетворены, союз слагает с себя всякую ответственность в случае нарушения спокойствия в столице.

Рабочим основательно объяснили всю важность этого шага. Я им ясно сказал, что если они решат постоять за своих товарищей, то должны понести все жертвы, которые такой шаг может за собой повлечь. Громкий взрыв аплодисментов был ответом на мой вызов. Энтузиазм рабочих был очевиден. Я сказал им, что от их мужества и решимости в этом деле зависит существование союза и что если мы потерпим неудачу, я уйду из союза. Я попросил их также поклясться, и они исполнили мою просьбу. Тогда мы решили отправить три депутации, каждую из семи или десяти человек: одну к директору Смирнову, другую к инспектору Чижову, и третью, во главе которой пошел я, к градоначальнику Фуллону.

На следующее утро мы отправились по всем трем поручениям. Смирнов встретил делегатов, во главе которых был мой друг Васильев, очень грубо и так на них кричал, что они ушли, прервав переговоры. Главный фабричный инспектор отнесся также несочувственно, пока делегаты не погрозили, что об отказе их выслушать они напечатают в газетах. Тогда он сказал, что может принять лишь самих уволенных, но отнюдь не делегатов.

Генерал Фуллон оказался более сговорчивым. Вначале он пожелал видеть меня одного и принял меня со своей обычной любезностью. Я указал ему на серьезность положения. «Рабочие решили, — сказал я, — поддержать своих товарищей какой угодно ценой. С этими четырьмя рабочими поступили очень несправедливо. Рабочие единогласно приняли резолюцию, которая, как вы увидите, очень умеренна, и лично я вполне поддерживаю их требование». Я говорил, что правительство должно понять серьезность предстоящего ему выбора. В промышленных вопросах в России всегда следует считаться с правительством, особенно же в данном случае, так как Путиловский завод, как и многие другие фабрики и заводы, существует, главным образом, казенными заказами. Пригрозив отнять эти заказы, правительство легко могло заставить фабрикантов пойти на уступки. Правда, обыкновенно случалось как раз обратное. Во время конфликтов между трудом и капиталом, фабриканты часто соглашались идти на уступки, но правительство, боясь, что это поведет к еще большим требованиям и к забастовкам более грандиозных размеров, запрещало им это делать; несколько раз фабриканты на своих профессиональных собраниях и в петициях министру финансов указывали, что правительство своим вмешательством препятствует проводить мирное развитие национальной промышленности.

Фуллон внимательно просмотрел резолюцию, но, дойдя до пятого пункта, воскликнул с удивлением: «Но это настоящая революция; вы угрожаете спокойствию столицы». «Вовсе нет, — ответил я успокоительно, — мы и не думаем ни о каких угрозах. Рабочие просто хотят поддержать своих товарищей. Вы говорили, что будете им помогать в затруднениях, и вот вам представляется случай. Если рабочие не поддержат своих товарищей, то масса скажет, что наш союз фиктивный, предназначенный только для того, чтобы выжимать взносы от бедняков и держать их в безмолвии. Все рабочие столицы наблюдают за происходящим с возмущением, и если наши требования не будут удовлетворены, спокойствие города будет безусловно нарушено. Я прошу вас принять делегацию и вы сами можете судить, насколько они серьезно настроены».

Градоначальник слушал внимательно и, очевидно тронутый моими словами, принял делегатов. Девять человек, один после другого, поддерживали мое заявление, и, в конце-концов, Фуллон обещал сделать все, что в его силах для удовлетворения наших требований.

Результаты переговоров мы в тот же вечер сообщили председателям отделов, а они, в свою очередь, оповестили своих членов.

В этот же день вечером мы решили, в случае надобности, объявить забастовку, сперва на Путиловском заводе, и, если в течение двух дней наша просьба не будет уважена, распространить забастовку на все заводы и мастерские в Петербурге. На случай неудачи переговоров решено было немедленно приступить к приготовлениям и предложено рабочим не тратить деньги на предстоящие праздники.

Утром 21-го декабря я пошел с четырьмя уволенными рабочими к Чижову. Я указал ему не серьезность положения, если среди рабочих будет развиваться убеждение, что фабричные инспектора, которые по русским законам дол-

жны занимать род судебной инстанции между хозяевами и рабочими, будут всегда брать сторону первых. Я говорил горячо, но не сказал ничего незаконного, и мы расстались по-дружески. Инспектор, однако, донес на меня Фуллому. Из дальнейшего свидания с Фуллоном я убедился, что нам ничего не оставалось, как сделать последнюю ставку. Я рассчитывал, что стачка на Путиловском заводе немедленно побудит администрацию к уступке, в виду того, что в данный момент завод оканчивал чрезвычайно серьезный заказ для правительства. В тот же вечер мы решили сделать забастовку.

Как раз в это время была получена телеграмма о сдаче Порт - Артура. Известие это вызвало большое негодование среди народа, и решимость действовать еще более окрепла. Когда я собрал наиболее влиятельных рабочих завода и спросил их, могут ли они остановить всю работу, они ответили утвердительно.

Следующие три дня прошли тихо. Наступил праздник Рождества. Для каждого отдела союза мы устроили елки, на которых веселились более 5 тыс. детей. Члены союза имели право приводить не только своих детей, но и сирот и подкидышей, которых так много в Петербурге. Каждый получил какой нибудь маленький подарок, а сиротам раздавали материю на платье. На этих елках мы говорили с рабочими и их женами; несколько тысяч прошло через наши залы, и всюду раздавались речи, в которых судьба уволенных рабочих была преобладающей темой.

Я был в страшной тревоге, сознавая, что судьба нашего союза находится на краю пропасти. Если нас вынудят забастовать, то мы должны, по крайней мере, сделать из этой забастовки событие государственной важности, придав ей политический характер. Сдача Порт - Артура послужила нам для этого предлогом. Я снова собрал своих 32 помощников и сказал им, что по моему, наступило время

подать царю нашу рабочую петицию. Они согласились со мной и обещали начать агитацию в пользу всеобщей забастовки, я же обещал приготовить к тому времени текст петиции. С каждым днем росло воодушевление рабочих. Накануне нового года я в последний раз ходил к Смирнову, — три часа беседовал с ним в надежде избежать забастовки, но безуспешно.

Свою деятельность в пересыльной тюрьме я продолжал и заинтересовал ею не только заключенных, но и тюремную администрацию. Раньше я был приглашен на открытие новой тюрьмы в Царском Селе, а также на богослужение 7-го января в главном тюремном управлении, но так как забастовка была уже в полном разгаре, то меня вежливо предупредили, что торжество отложено.

2-го января, по моему предложению, было решено, что забастовка на Путиловском заводе начнется завтра. Условлено было, что сперва прекратит работу одна часть мастеровских, рабочие которых пройдут процессией по другим мастерским и остановят работу.

Все произошло как было условлено. В назначенный час 13 тысяч человек прекратили работу. Администрация была, конечно, поражена и испугана. Директор Смирнов, весьма гордившийся своим красноречием, вышел к толпе и сказал, что «лучше бы оставили эти шутки и избрали делегацию, так как, может быть, он и может удовлетворить их желания». Рабочие ответили, что теперь у них другие требования и что делегацию они пошлют только с условием, что отец Гапон будет в ней участвовать. Смирнов на это не согласился и даже не удержался, чтобы не сказать, что я то и есть враг рабочих и веду их к гибели, что едва не привело к печальному инциденту. Один из рабочих, малорос, высокий, смуглый парень, выхватил свой нож и бросился на Смирнова, ко-

торый быстро скрылся. Полицейский офицер также старался убедить рабочих стать на работу, но безуспешно.

Я тем временем сидел дома, тревожась и волнуясь, не зная, что происходит на заводе; наконец, я не выдержал, сел на извозчика и поехал на Путиловский завод. Дорогой я узнал все от одного из рабочих, с которым и поехал на завод. Когда мы под'ехали к заводу, мы увидели громадную толпу, наполнявшую двор завода и примыкающие к нему улицы. Меня встретили криками: «отец Гапон приехал». Пока мне не очистили дороги, я не мог пробиться сквозь толпу. Встав на повозку, я обратился к рабочим с речью. Помню только, что я хвалил их за их действия, сравнивая с старым дубом, ожившим после мороза под теплым веянием весны. Я говорил им о том, что внимание всего города обращено на них, что их желание заступиться за своих товарищей, выброшенных с их семействами на голодную смерть, вполне справедливо, а, между тем, начальство отвечает им только репрессиями. «Имеем ли мы или не имеем права защищать своих товарищей?» — спросил я. Вопрос этот вызвал гром аплодисментов. Тогда я прочел рабочим перечень наших требований, написанный в дополнение к просьбе об обратном приеме четырех уволенных рабочих.

Содержание прочитанного было следующее:

1) цена на контрактные работы (срочные) должна быть устанавливаема не произвольным решением мастеров, а по взаимному соглашению между начальством и делегатами от рабочих;

2) учреждение при заводе постоянной комиссии из представителей администрации и рабочих, для разбора всех жалоб, при чем без согласия комиссии никто не мог быть уволен;

3) восьмичасовой рабочий день; на этом пункте не настаивали, откладывая его до выработки соответственного законодательства;

4) увеличение поденной платы женщинам до 70 коп. в день;

5) отмена сверхурочных работ, за исключением добровольного соглашения, и тогда — двойная плата;

6) улучшение вентиляции в кузнечных мастерских;

7) увеличение платы чернорабочим до 1-го руб. в день;

8) никто из забастовавших не должен пострадать;

9) за время забастовки должно быть заплачено.

Все пункты были приняты под единодушные рукоплескания, и, по моему совету, немедленно было приступлено к переписке требований, для распространения их по всем фабрикам и заводам в городе. Затем мы организовали забастовочный комитет, имевший целью помогать забастовщикам, без различия отделений союза. Денежный сбор должен был производиться у ворот заводов и на митингах. С этого дня наплыв новых членов союза стал страшно увеличиваться, и мы решили между собой, хотя это и противоречило утвержденным правилам устава, чтобы все поступления шли на расходы по забастовке. Помощь забастовщикам выдавалась не денежная, а припасами. Все отделения союза несли массу чая, сахара, хлеба, картофеля для раздачи забастовщикам.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Стачка разрастается

Мы решили, что если в течение двух дней требования наши не будут удовлетворены, распространить стачку на Франко-русский судостроительный и Семянниковский заводы, на которых насчитывалось 14 тыс. рабочих. Я

избрал именно эти заводы, потому что знал, что как раз в это время они выполняли весьма серьезные заказы для нужд войны.

3-го января Фуллон говорил со мною по телефону. Он был в большом волнении. Он виделся с Витте, который добился возвращения одного рабочего и обещания принять еще двух. Оставался только один, и Фуллон просил меня прекратить забастовку. Я ответил, что поздно; теперь это не было только вопросом об обратном приеме 4-х рабочих. Теперь каждая мастерская предъявляла свои требования, и я мог только посоветовать администрации Путиловских заводов устроить совещание с председателями отделов моего союза и делегатами от забастовщиков. В качестве гарантии, я просил Фуллона дать мне слово, что ни один из делегатов не будет арестован или наказан, и, так как несомненно, они попросят меня сопровождать их, то, чтобы и я был гарантирован от ареста. Фуллон обещал, и в то же время признался, что не доверяет мне, и напомнил о доносе вел. кн. Сергея Александровича. «Знаете ли, — сказал Фуллон, — что, если бы Плëve не был убит, вы бы давно были высланы из Петербурга». На это я возразил ему, что я всегда говорил ему правду, тогда как другие обманывали его. «В вашей власти арестовать меня, — сказал я, сознавая, что от этого разговора зависит все будущее рабочего движения, — но предупреждаю вас, что, если в течение двух дней не будут удовлетворены желания путиловских рабочих, забастовка распространится еще на некоторые заводы, и, если и тогда администрация будет продолжать упорствовать, рабочие всего Петербурга присоединятся к забастовке. В рабочем классе масса недовольных. До настоящей минуты все требования только экономические, но если вы не пойдете на уступки, чтобы предупредить взрыв, то дальше будет хуже. Но, по крайней мере, не употребляйте силы, не приводите каза-

ков. Может быть, рабочие захотят подать петицию царю, так не бойтесь: все будет тихо и мирно. Рабочие желают только, чтобы слышали их голос».

В конце разговора Фуллон снова подтвердил свое обещание, что ни я, ни один из делегатов не будет арестован. Рабочие решили не соглашаться на частичные уступки.

4-го января правительство сделало новую попытку принудить меня отговорить рабочих от их намерения. Начальник главного тюремного управления Стремоухов, личный друг министра юстиции Муравьева, призвал меня к себе и, в присутствии инспектора тюрем, сказал, что ему поручено уговорить меня убедить рабочих стать на работу; при этом он намекнул мне, что, если я этого не сделаю, то лишусь места священника в пересыльной тюрьме.

— Если это угроза, — сказал я, — то я предупреждаю, что буду действовать только согласно моим убеждениям. Разговор резко оборвался после того, как я сказал, что они могут действовать, как найдут для себя удобным, но что и я оставляю за собой свободу действий.

В тот же самый день вечером я собрал депутацию из ста человек, и мы на заводе ожидали Смирнова. На всем заводе было только двое полицейских. После долгих разговоров на различные темы Смирнов отказал нам во всех наших требованиях. Я предупредил его, что в таком случае вся ответственность падает на него, и мы оставили завод, сопровождаемые полицейскими, и отправились прямо на собрание, где я и доложил о происшедшем. Легко себе представить, с каким негодованием было встречено сообщение. Рабочие решили твердо стоять на своем.

Так окончился второй день забастовки. Фуллон снова говорил со мной, при чем сказал, что не может больше ничего сделать. Сознавая, что с своей стороны я сделал все, чтобы сохранить мир, я решил, что другого исхода не было, как всеобщая забастовка, а так как забастовка эта несом-

ненно вызовет закрытие моего союза, то я и поспешил с составлением петиции и последними приготовлениями.

5-го января забастовали Франко - русский и Семянниковский заводы. Рабочие разошлись по отделам союза. Исчезло различие между членами союза и посторонними лицами, и, без предварительного соглашения, мы сделались центром и представителями всего движения. Я пригласил вожakov революционной партии присоединиться к нам и поддержать забастовку, сознавая, что в данную минуту всякая помощь, откуда бы она ни шла, была хороша. Когда революционеры пришли на митинг, то рабочие вначале отнеслись к ним недружелюбно, но я постарался сгладить отношения и примирить их.

Как в этот день, так и на следующий, я ездил от одного отделения к другому и везде произносил речи. Но так как некоторые помещения не могли вместить всю толпу, то была установлена очередь, и мне приходилось по 4 и даже по 6-ти раз говорить в одном и том же месте. 6-го января мне пришлось говорить от 20 до 30 раз речи, в которых я развивал основные идеи программы, выработанной нами в тайном комитете, при основании союза. Всюду толпа давала мне доказательства, что поняла из хода событий, почему экономические требования неразрывно связаны с политическими. Весь день отделы союза избражали из себя ульи, где царил все возраставшее возбуждение.

В ночь на 6-е января я ушел из дому из боязни быть арестованным и тем погубить все дело. Хотя Фуллон и дал мне честное слово, что меня не арестуют, но я не хотел подвергаться случайности. Мое последнее посещение своего дома навсегда останется в моей памяти. Некоторые из преданных мне людей пошли вперед посмотреть, нет ли там полиции и не подстерегают ли меня. Но никого не было, и я вошел в дом. Там уже находилось несколько

литераторов и один английский корреспондент. Я попросил моих друзей составить проект петиции к царю, в которую вошли бы все пункты нашей программы. Ни один из составленных проектов не удовлетворил меня; но позднее, руководясь этими проектами, я сам составил петицию, которая и была напечатана. Также я решил, что народ должен сам подать эту петицию царю. В последний раз я оглядел свои три комнатки, в которых собиралось так много моих рабочих и их жен, так много бедных и несчастных, комнатки, в которых произносилось столько горячих речей, происходило столько споров. Я посмотрел на висевшее над моей кроватью деревянное распятие, которое очень любил, потому что оно напоминало мне о жертве, которую Христос принес для спасения людей. В последний раз посмотрел я на картину «Христос в пустыне», висевшую на стене, на мебель, сделанную для меня воспитанниками приюта, где я был законоучителем. Подавленный горем, но исполненный твердости и решимости, я оставил свой дом, чтобы никогда больше его не увидеть.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В министерстве юстиции

Я провел остаток ночи в доме одного из рабочих, работая над составлением петиции. Окончив ее, я отвез ее на следующее утро к одной даме, которая обещала мне напечатать ее, и затем вернулся домой, чтобы хотя немного отдохнуть. Один из моих друзей, разбудив меня, сказал, что ко мне на дом приходил курьер из министерства юстиции с предложением явиться туда. От митрополита Антония была получена записка, также приглашавшая меня явиться, очевидно, для объяснения по поводу забастовки.

Предчувствуя неудачу, я решил не ходить ни в министерство, ни к митрополиту. Но, когда 8-го января я убедился, что правительство намерено прибегнуть к крайним мерам, в случае, если мы не откажемся от наших намерений, и снова получил от Муравьева приглашение явиться, я решил пойти, чтобы в последний раз попытаться окончить дело миром. Я знал, что подвергался опасности быть арестованным и, таким образом, оставить рабочих без руководителя в такой критический момент, но я должен был рискнуть, если этим можно было предотвратить надвигающуюся трагедию.

Я решил пойти в министерство после полудня, а до того времени написать письма министру внутренних дел и царю. Последнее письмо было немедленно отвезено двумя доверенными лицами в Царское Село с приказанием немедленно доставить в руки царю, если будет возможно.

«Государь, — писал я, — боюсь, что твои министры не сказали тебе всей правды о настоящем положении вещей в столице. Знай, что рабочие и жители г. Петербурга, веря в тебя, бесповоротно решили явиться завтра в 2 часа пополудни к Зимнему дворцу, чтобы представить тебе свои нужды и нужды всего русского народа.

Если ты, колеблясь душой, не покажешься народу и если прольется неповинная кровь, то порвется та нравственная связь, которая до сих пор еще существует между тобой и твоим народом. Доверие, которое он питает к тебе, навсегда исчезнет.

Явись же завтра с мужественным сердцем перед твоим народом и прими с открытой душой нашу смиренную петицию.

Я, представитель рабочих, и мои мужественные товарищи ценой своей собственной жизни гарантируем «неприкосновенность твоей особы».

Свящ. Г. Гапон.

8 января 1905 г.

Не знаю, дошло ли мое письмо до государя, так как я никогда больше ничего не слышал о двух моих посланцах. Вероятно, они его доставили и были немедленно арестованы. Письмо же к Святополк - Мирскому было ему доставлено, хотя я и не хлопотал о его доставке.

Собрав несколько вожаков рабочих, я прочел им мое письмо. Они одобрили его содержание, но последняя фраза вызвала возражение. «Как можем мы гарантировать безопасность царю нашей жизнью, — серьезно спрашивали некоторые из них: — если какое-нибудь неизвестное нам лицо бросит бомбу, то мы должны будем покончить с собой». Слова эти доказывали, какая искренность и простодушие руководили рабочими. Мне пришлось употребить все мое влияние, чтобы убедить, что мы безусловно должны обещать царю эту гарантию. Затем письмо мое было подписано мною и моими товарищами, и я уверен, что если бы царь явился к народу и что-нибудь случилось бы с ним, люди эти покончили бы с собой. Расставаясь с ними, я сказал: «Теперь идите к своим и расскажите им о нашей петиции и скажите, чтобы завтра они пришли подать ее царю. Если он не явится и будет пролита невинная кровь, то у нас нет больше царя. Сам я пойду к министру юстиции. Если меня арестуют, скажите об этом товарищам и доведите дело до конца; если же меня не арестуют, то вечером увидимся на собрании». Когда мой друг Кузин вернулся из министерства вн. д., мы вместе поехали в министерство юстиции. Он остался в сенях, а некоторые из моих людей держались невдалеке, чтобы сообщить рабочим, если меня арестуют. Очевидно, все, т.-е. швейцар, курьеры и чиновники, знали о том, что происходит, и о причинах моего посещения, так как встречали меня с видимым любопытством, уважением и даже низкопоклонством.

— Скажите мне откровенно, что все это значит? — спросил меня министр, когда мы остались одни. Я, в свою

очередь, попросил его сказать мне откровенно, не арестуют ли меня, если я буду говорить без опаски. Он как будто смутился, но затем, после некоторого размышления, ответил «нет», и затем торжественно повторил это слово. Тогда я рассказал ему об ужасных условиях, в которых находятся рабочие и народ в России.

— Страна, — сказал я, — переживает серьезный политический и экономический кризис; каждое сословие предъявляет свои требования, жалуется на свои нужды, выражая их в своих петициях к царю; настал момент, когда и рабочие, жизнь которых очень тяжела, желают также изложить свои нужды царю. При этом я вручил ему копию нашей петиции. Всего было сделано только 15 копий. Одиннадцать было роздано по отделам нашего союза, одна на лучшей бумаге для государя, по одной министрам внутренних дел и юстиции, и одна для меня (я отдал ее корреспонденту одной английской газеты, высказав при этом надежду, что и нам Господь дарует те права, которыми пользуется английский народ). Поэтому я был очень удивлен, когда Муравьев сказал мне, что у него уже есть такая копия.

Взяв мою, он внимательно просмотрел ее и затем простер руки с жестом отчаяния, и воскликнул: «Но ведь вы хотите ограничить самодержавие!»

— Да, ответил я, но это ограничение было бы на благо как для самого царя, так и его народа. Если не будет реформ выше, то в России вспыхнет революция, борьба будет длиться годами и вызовет страшное кровопролитие. Мы не просим, чтобы все наши желания были немедленно удовлетворены, мы удовольствуемся удовлетворением наиболее существенных. Пусть простят всех политических и немедля созовут народных представителей, тогда весь народ станет обожать царя. — Глубоко взволнованный, я, пользуясь важностью момента, прибавил: «Ваше превосхо-

дительство, мы переживаем великий исторический момент, в котором вы можете сыграть большую роль. Несколько лет тому назад вы запятнали себя преследованием тех, кто боролся за свободу. Теперь вы имеете случай смыть это пятно. Немедля напишите государю письмо, чтобы, не теряя времени, он явился к народу и говорил с ним. Мы гарантируем ему безопасность. Падите ему в ноги, если надо, и умоляйте его, ради него самого принять депутацию, и тогда благодарная Россия занесет ваше имя в летописи страны». Муравьев изменился в лице, слушая меня, но затем внезапно встал, простер руку и, отпуская меня, сказал: «Я исполню свой долг».

Когда я спускался по лестнице, меня поразила мысль, что эти загадочные слова могли иметь только тот смысл, что он поедет к царю посоветовать стрелять без колебания. Тогда я подошел к телефону в сенях и, вызвав министра финансов Коковцева рассказал ему о случившемся и просил его содействия к предотвращению кровопролития.

Ответа я не слышал, так как меня раз'единили.

С этого момента я был убежден, что произойдут серьезные беспорядки, но остановить движение было уже невозможно, не погубив всего его будущего. Чтобы предупредить народ о том, что его ожидает, я послал делегатов в Колпино, а сам об'ехал все 11 отделов союза. В каждом отделе я говорил рабочим, что они должны завтра идти со своими женами и детьми и что, если государь не захочет нас выслушать и встретит пулями, то у нас нет более царя.

В течение последних трех дней возбуждение в Петербурге все возрастало. Все заводы, фабрики и мастерские постепенно прекращали работу, так что вскоре не осталось ни одной дымящейся трубы во всем городе. Несмотря на то, что открытые манифестации не дозволены в России, настроение народа ясно сказывалось. Тысячи мужчин и женщин постоянно собирались в помещениях рабочего

союза; председатели и вожаки непрерывно говорили собравшимся, объясняя им содержание петиции к царю, и готовили процессию к Зимнему дворцу.

После каждой речи присутствующие приглашались в соседнюю комнату для подписи. Таким образом было собрано более 100 тыс. подписей и знаков за неграмотностью. Что случилось со всеми этими подписями в дальнейшем, я не знаю.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Последние приготовления

Свои раз'езды от отдела к отделу я делал в санках, запряженных быстрою лошадью, управляемой преданным мне кучером, и, чтобы не быть узнанным, я надевал поверх рясы шубу и обыкновенную шапку. В помещении второго отдела было до того жарко, что многие лишились сознания, и собрание прерывалось восклицаниями: «я задыхаюсь!» А в помещении рабочего клуба за Нарвской заставой, от недостатка воздуха погасли лампы, и мы должны были продолжать наш митинг на дворе. Стоя на бочке, при освещении фонаря, под открытым звездным небом, я читал 10-тысячной толпе содержание нашей петиции. Это было величественное и трогательное зрелище.

До 8-го января, т.-е. до того дня, когда после свидания с министром юстиции, я убедился, что власти, вероятно, захотят нас остановить, я предписывал моим помощникам самим не касаться и другим не позволять касаться в речах особы государя, но в этот день я позволил им говорить открыто, что если к нам не отнесутся дружелюбно и миролюбиво, то вся вина в этом падет на правительство и на царя. В этот день возгласы: «не надо царя, если он не хочет нас выслушать» впервые раздались на наших собраниях. Ве-

чером 8-го января, в одном из помещений рабочего клуба, собрались многие представители социал-демократической и социал-революционной партий. Несмотря на страшную усталость, я не мог не говорить с ними о нашем деле. «Решено, что завтра мы идем, — сказал я им, — но не выставляйте ваших красных флагов, чтобы не придавать нашей демонстрации революционного характера. Если хотите, идите впереди процессии. Когда я пойду в Зимний дворец, я возьму с собою два флага, один белый, другой красный. Если государь примет депутацию, то я возведу об этом белым флагом, а если не примет, то красным, и тогда вы можете выкинуть свои красные флаги и поступать, как найдете лучшим». В заключение я спросил, есть ли у них оружие, на что социал-демократы ответили мне, что у них нет, а соц.-рев., что у них есть несколько револьверов, из которых, как я понял, они приготовились стрелять в войска, если те будут стрелять в народ. Выработать какой-либо план не было времени. «Во всяком случае, — сказал я, — не трогайте царя, он должен быть вне опасности. Еще лучше, если бы вовсе не было враждебных возгласов. Пусть спокойно возвращается в Царское Село». Революционеры мне это обещали.

Из разговоров с рабочими я вынес впечатление, что большая часть рабочего населения столицы, собирается принять участие в завтрашней демонстрации. На одном из митингов одна старушка спросила меня: «А что, если царь-батюшка долго к нам не выйдет? Мне сказали, что его нет в Петербурге».

— Да, — ответил я, — но он недалеко, в получасе езды от Петербурга. Мы должны ожидать его до глубокой ночи, и вам лучше взять с собой что поесть.

И они взяли с собой хлеб, а не оружие.

В течение вечера я послал Кузина к известным либералам, в том числе и к Максиму Горькому, с просьбою сде-

лать, что можно, чтобы предотвратить кровопролитие. Те ходили к Святополк - Мирскому, к Витте, но безуспешно. Мои посещения отделов союза окончились в 7 час. вечера. Процессия наша представлялась мне очень внушительной, и я сознавал, что сделал все, что было в моих силах. В этот день я сказал до 50 речей.

Все вожаки рабочих, всего около 18 человек, собрались в одном из трактиров, чтобы закусить и проститься друг с другом. Половой, прислуживавший нам, прошептал: «Мы знаем, что завтра вы идете к царю, чтобы хлопотать о народе. Помогите вам Господи». Не чувствуя себя в безопасности в этом трактире, мы закусив, пошли в дом одного из моих друзей. Меня подавляла мысль о том, что неужели я посылаю всех этих славных людей на верную смерть. Они создали все это чудное движение. Что станет с этим движением, если их всех убьют? В конце - концов, я решил идти впереди, решил и их послать. Ставка была слишком велика, чтобы останавливаться перед жертвами. Теперь я вижу, что я очень ошибался. Я предложил каждому из вожаков избрать себе по два помощника, на случай, если они будут убиты, но я сомневаюсь, чтобы они это сделали. Васильева я назначил заменить меня в случае, если меня убьют, и еще одного, чтобы заменить Васильева. Затем мы стали вырабатывать план демонстрации, при чем мы выяснили его только в главных чертах, предоставляя каждому отделу союза свободу самостоятельно действовать при организации своей процессии. Конечная же цель — достигнуть Зимнего дворца, — была для всех обязательна.

Я поблагодарил всех за оказанную мне помощь в нашем деле. «Великий момент наступил для нас, — сказал я, — не горюйте, если будут жертвы. Не на полях Манчжурии, а здесь, на улицах Петербурга, пролитая кровь создаст обновление России. Не поминайте меня лихом. До-

кажите, что рабочие умеют не только организовывать народ, но и умереть за него». Все были глубоко потрясены и пожимали друг другу руки. Затем стали писать адреса своих родственников и родных, чтобы те, кто останется жив, мог позаботиться о семействах убитых. Потом мы послали за ближайшим фотографом, который и явился немедленно, но оказался тем самым, который снимал нас с Фуллоном; тогда я придумал какой-то предлог, чтобы отослать его, и мы пошли к другому фотографу, который и снял нас при свете магния.

Ночь я провел в отделе союза за Невской заставой. Меня привел туда мой телохранитель Филиппов, кузнец, громадного роста и хорошо вооруженный. Это был парень атлетического сложения, с большой бородой. Он также пал жертвой «кровавого воскресенья». Пока мы шли, мы все время слышали зловещие звуки шагов вооруженных солдат и конных казаков. Улицы кругом были пустынные, и только кое-где случайный прохожий боязливо шагал по снегу.

Придя к месту назначения, мы нашли там большую толпу, среди которой находился и инженер с одного из больших заводов. С самого начала забастовки он с большим интересом следил за развитием движения и моим участием в нем. Он был одним из вожаков местной революционной партии и хотел видеть меня, чтобы спросить, выработал ли я определенный план действий на случай столкновения с войсками.

Я крепко заснул в комнате одного из рабочих, верный Филиппов спал на пороге моей комнаты, а несколько человек караулили всю ночь на дворе.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Утро 9-го января

Ночь прошла спокойно; я встал в 9 часов и напился чаю в обществе нескольких рабочих. Очевидно, полиция не знала, где я. В то время, как я пил чай, один из рабочих, от которого все сторонились, подозревая его в шпионстве, вбежал в комнату и, увидев меня, остановился, пораженный и, прежде чем его успели схватить, выбежал. Вскоре пришел посланный от Фуллона, который просил меня поговорить с ним по телефону. Отговариваясь недосугом, я послал вместо себя одного рабочего, но рабочий вернулся, не дойдя до телефона, так как встретил местного пристава, который сказал ему: «А, так отец Гапон здесь». Рабочий понял, что мне грозит опасность и поспешил обратно.

Тогда я пошел в наш отдел союза. Там на двери все еще висело большое объявление, приглашавшее всех рабочих в Петербурге присоединиться к процессии к Зимнему дворцу. Объявление висело уже два дня, и полиция не обращала на него внимания. Факт этот давал мне и моим товарищам повод думать, что или власти не намерены препятствовать нам, или что полиция не знает о намерениях правительства. Очевидно и городское население было того же мнения, и это поощряло народ примкнуть к рабочей манифестации.

В 10 часов, как я назначил, собралась огромная толпа. Все безусловно были трезвы и пристойны, очевидно сознавая все значение этого дня как для рабочих, так и для народа. Те, которые еще не знали содержания петиции, брали, чтобы прочесть ее.

Послышались первые раскаты грома готовой разразиться грозы. Пришло несколько рабочих, которые с тревогой, но еще не придавая этому настоящего значения, рассказывали, что ворота Нарвской заставы охраняются войсками. Перед выступлением процессии, один за другим приходили гонцы, со слов которых нам стало ясным, что за ночь весь Петербург превратился в военный лагерь. По всем улицам двигались войска: кавалерия, пехота, артиллерия, сопровождаемые походными кухнями и лазаретами. Всюду, вокруг костров стояли пикеты с оружием, поставленным в козлы. Даже гвард. пехота стояла наготове. «Красные» казаки его величества и синие атаманцы были поставлены в предместьях города. Вся площадь перед Зимним дворцом была занята войсками разного рода оружия, а в скверах расположились лагерем полки. Заняты войсками были и мосты через Неву, в особенности Троицкий, на котором стояли казаки, уланы, гренадеры и новгородские драгуны. Из Петропавловской крепости были вывезены три пушки и поставлены на мосту, который соединяет крепость с городом. Даже в самой крепости были сделаны разные приготовления, как будто японцы, а не безоружные подданные царя грозили ей. Очевидно, власти боялись, что народ сделает попытку напасть на арсенал. По дошедшим до меня сведениям, все военные распоряжения исходили от вел. кн. Владимира, но приказы отдавались от имени кн. Васильчикова. Всюду были оставлены конки, но движение на санях и пешее продолжалось. Видя все это, я подумал, что хорошо было бы придать всей демонстрации религиозный характер и немедленно послал нескольких рабочих в ближайшую церковь за хоругвями и образами, но там отказались дать нам их. Тогда я послал 100 человек взять их силой, и через несколько минут они принесли их. Затем я приказал принести из нашего отдела царский портрет, чтобы этим под-

черкнуть миролюбивый и пристойный характер нашей процессии.

Толпа выросла до громадных размеров. Мужчины приходили со своими женами и детьми, одетыми по-праздничному. Случайно возникавшие недоразумения немедленно прекращались словами: «не время спорить».

В начале одиннадцатого часа мы двинулись с юго-западной части города к центру, Зимнему дворцу. Это была первая из всех процессий, когда-либо шедших по улицам Петербурга, которая имела целью просить государя признать права народа. Утро было сухое, морозное. Я предупреждал людей, что те, которые понесут хоругви, могут пасть первыми, когда начнут стрелять, но в ответ на это толпа людей бросилась вперед, оспаривая опасную позицию. Одна старушка, очевидно, желавшая доставить своему 17-летнему сыну случай видеть царя, дала ему в руки икону и поставила в первый ряд. В первом же ряду стояли и несли царский портрет в широкой раме, во втором ряду несли хоругви и образа, а посередине шел я. За нами двигалась толпа, около 20 тысяч человек мужчин, женщин, старых и молодых. Несмотря на сильный холод, все шло без шапок, исполненные искреннего желания видеть царя, чтобы, по словам одного из рабочих, «подобно детям», желающим выплакать свое горе на груди царя-батюшки.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Бойня у Нарвской заставы

— Прямо идти к Нарвской заставе, или окольными путями? — спросили меня. — Прямо к заставе, мужайтесь, или смерть, или свобода, — крикнул я. В ответ раздалось громовое «ура». Процессия двигалась под мощное пение

«Спаси господи люди твоя», при чем когда доходило до слов «императору нашему Николаю Александровичу», то представители социалистических партий неуместно заменяли их словами «спаси Георгия Аполлоновича», а другие повторяли: «смерть или свобода». Процессия шла сплошной массой. Впереди меня шли мои два телохранителя и один парень с черными глазами, с лица которого тяжелая трудовая жизнь не стерла еще юношеских красок. По сторонам толпы бежали дети. Некоторые женщины настаивали идти в первом ряду, чтобы своими телами защищать меня, и большого труда стоило уговорить их. Не могу не упомянуть, как о знаменательном факте, что, когда процессия двинулась, полиция не только не препятствовала нам, но сама без шапок шла вместе с нами, подтверждая этим религиозный характер процессии. Два полицейских офицера, также без шапок, шли впереди нас, расчищая дорогу и направляя в сторону встречавшиеся нам экипажи. Таким образом подходили мы к Нарвской заставе. Толпа становилась все больше, пение более внушительным и вся сцена более драматичной. Наконец, мы находились всего в двухстах шагах от войск. Ряды пехоты преграждали нам путь, впереди пехоты стояла кавалерия с саблями наголо. Неужели они тронут нас? На минуту мы смутились, но затем снова двинулись вперед.

Вдруг сотня казаков бросилась на нас с обнаженными саблями. Итак, значит, будет бойня. Сообразить что-либо, отдать приказание, тем более выработать план какой-либо не было времени. Раздался крик ужаса, когда казаки обрушились на нас. Передние ряды расступились направо и налево и казаки пронеслись по образовавшемуся проходу, рубя на обе стороны. Я видел, как подымались сабли, и мужчины, женщины и дети падали, как подкошенные. Стоны, проклятья и возгласы наполнили воздух. По моему приказанию передние ряды снова сомкнулись за

казаками, которые, проникая все глубже в толпу, выехали, наконец, с противоположной стороны. Снова торжественно, но уже с яростью в сердце, мы двинулись вперед. Тем временем казаки, повернув лошадей, снова стали прорезать толпу в обратном направлении. Промчавшись, они направились к Нарвской заставе, где ряды пехоты, расступившись, чтобы пропустить казаков, снова сомкнулись. Мы все подвигались вперед, хотя ряды грозно сверкавших штыков не сулили нам ничего доброго. Когда процессия еще только двинулась в путь, мой добрый друг рабочий Кузин сказал мне: «Мы принесем нашу жизнь в жертву». Да будет так.

Мы были не более как в 30 шагах от солдат, нас разделял только мост через Таракановку (которая считается границей города), как вдруг, без всякого предупреждения, раздался залп. Как мне говорили потом, сигнал был дан, но за пением мы его не слышали, а если бы и слышали даже, то не знали, что он означает.

Васильев, шедший со мной рядом и державший меня за руку, внезапно выпустил мою руку и опустился на снег. Один из рабочих, несших хоругвь, также упал. Когда я сказал об этом одному из двух полицейских офицеров, сопровождавших нас, тот немедленно крикнул: «Что вы делаете, как вы смеее стрелять в портрет государя?» Но это не помогло, и, как я узнал позже, оба офицера пали, один убитый, а другой опасно раненый.

Обернувшись к толпе, я крикнул, чтобы все легли на землю и лег сам. Пока мы лежали, залп раздавался за залпом и, казалось, конца им не будет. Толпа стала сперва на колени, а потом легла плашмя, стараясь защитить головы от града пуль, задние же ряды обратились в бегство. Дым от выстрелов, подобно облаку, стоял перед нами и щекотал в горле. Старик Лаврентьев, несший цар-

ский портрет, был убит, а другой, взяв выпавший из его рук портрет, также был убит следующим залпом. Умирая, он проговорил: «Хоть умру, но в последний раз увижу царя». Одному из несших хоругвь пулей перебило руку. Маленький 10-летний мальчик, несший фонарь, упал пораженный пулей, но продолжал крепко держать фонарь и пытался встать, но был убит второй пулей. Оба кузнеца, охранявшие меня, также были убиты, как и все те, кто нес образа и хоругви, теперь валявшиеся на снегу. Солдаты продолжали стрелять во дворы прилегающих домов, куда толпа старалась скрыться, и, как я узнал потом, пули через окна попадали и в посторонних лиц.

Наконец, стрельба прекратилась. С несколькими уцелевшими стоял я, и смотрел на распростертые вокруг меня тела. Я крикнул им: «встаньте», но они продолжали лежать. Почему же они не встают? Я снова посмотрел на них и заметил, как безжизненно лежат руки и как по снегу бежали струйки крови. Тогда я все понял. У ног моих лежал мертвый Васильев.

Ужас охватил меня. Мозг мой пронизала мысль: и все это сделал «батюшка - царь». Мысль эта спасла меня, так как теперь я был убежден, что с этого момента начнется новая глава в истории русского народа. Я встал, и вокруг меня собрались несколько рабочих. Оглянувшись назад, я увидел, что процессия наша расстроилась и многие бежали. Напрасно было взывать к ним, и я стоял, дрожа от гнева, в центре небольшой кучки людей, на развалинах нашего рабочего движения. Когда мы стояли, снова раздались выстрелы, и мы снова легли. После последнего залпа, я встал невредим, но оказался один. В эту минуту отчаяния кто-то взял меня за руку и повел в боковую улицу в нескольких шагах от места бойни. Сопротивляться не имело смысла. Что большего мог я сделать? «Нет у нас больше царя», — воскликнул я.

Неохотно отдался я в руки своих спасителей. Все, за исключением небольшой кучки людей, были убиты, или бежали в ужасе. Ведь мы были безоружны. Оставалось только ждать дня, когда виновные будут наказаны, зло будет исправлено, дня, когда мы придем безоружными только потому, что в оружии более не будет надобности.

Из соседней улицы к нам подошли несколько рабочих, и я узнал в моем спасителе того инженера, с которым я виделся предыдущею ночью у Нарвской заставы. Вынув из кармана ножницы, он обрезал мне волосы, и рабочие поделили их между собой. Один из них снял с меня рясу и шляпу и дал мне свою поддевку, но она оказалась в крови, тогда другой рабочий снял с себя свое рваное пальто и шляпу и настоял, чтобы я надел их. Все это заняло не больше 2—3 минут. Инженер торопил меня пойти с ним в дом одного из его друзей. Я согласился.

Тем временем солдаты стояли у Нарвской заставы и не только не помогали сами, но не позволяли никому помочь раненым. Только долго спустя стали укладывать мертвых и раненых на санки и отвозить в мертвецкую или в больницы. По свидетельству докторов, подавляющее большинство серьезных ран были в голову и корпус и весьма редко в руки и ноги. В некоторых телах было по несколько пуль. Ни на одном из убитых не было найдено никакого оружия, даже камня в кармане. Один из докторов, в больницу которого было привезено 34 трупа, говорил, что вид их был потрясающий, лица искажены ужасом и страданием, и пол кругом покрыт лужами крови.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Первые баррикады

Через несколько дней я узнал, что и остальные отделы нашего союза не меньше пострадали в разных частях города. Не считая маленьких групп рабочих, имевших местожительство в центре города, было всего 4 сборных пункта. Наш — в юго-западной части города, другой — на Петербургской стороне, третий — на Васильевском острове и четвертый — на Шлиссельбургском тракте.

9-го утром на Петербургской стороне собралась большая толпа, в ожидании выхода процессии. Все были настроены весьма мирно, никто не ждал беды. К стоявшей толпе под'езжало несколько конных солдат, просили закурить и дружески разговаривали с рабочими. Перед выходом процессии разнесся слух, что путь к Зимнему дворцу прегражден и что казаки уже убили саблями несколько мужчин и женщин. Несмотря на это, процессия направилась к Троицкому мосту; в том же направлении шла и другая толпа с Выборгской стороны, выступившая с Оренбургской улицы. Никто не мешал соединению этих процессий до Александровского парка, где они встретили войска, загородившие им путь на Троицкий мост.

Один офицер под'ехал на сто шагов к толпе. Видя его махающим рукой, первые ряды остановились и выслали трех делегатов для переговоров с ним. Но прежде, чем они подошли к нему, он крикнул: «не подходите, или будем стрелять». Делегаты стали на колени и вывернули карманы, показывая, что они безоружны. Тогда офицер под'ехал к ним, взял у одного из них копию петиции к царю и повел его за собой к войскам; другие два делегата пошли

за ним. Полагая, что они получили разрешение идти, толпа двинулась вперед. Немедленно, без всякого предупреждения, раздался залп один, другой, третий. Многие были убиты и более сотни ранены. Все это, со слов очевидца, произошло чрезвычайно быстро, так что если бы толпа даже и желала бы разойтись, то не имела бы времени, да и разбежаться не было возможности, потому что все соседние улицы были полны народом. Тех, которые искали спасения по Дворянской улице, ведущей к Самсоньевскому мосту на Выборгской стороне, преследовала кавалерия, рубя направо и налево. Многие старались скрыться в ближайших дворах, но, по приказанию офицера, все ворота были заперты. Даже когда уже улицы были очищены и все было спокойно, безоружные прохожие не были гарантированы от нападений. Некто Мартинат, германский подданный, получил удар саблей по голове и, когда он упал, солдат продолжал рубить его. И это был не единственный случай. И здесь также убитые и раненые лежали неубранные, т. к. полиция и войска не позволяли никому подходить к ним. Некоторые останавливали проезжающих извозчиков, чтобы увезти пострадавших, но полиция не позволяла этого делать и даже ранила несколько ослушников, но, несмотря на это, извозчики не только помогали увозить пострадавших, но даже не брали за это денег.

Событие 9-го января не осталось без влияния на народ. Оно вызвало видимую перемену в его настроении. Вид сотен безоружных и невинных жертв переполнил чашу народного терпения. Не успевали разгонять толпу, как она снова собиралась в другом месте, ораторы-революционеры, до того дня нежеланный элемент среди рабочих, находили массу слушателей. «Не стоит идти к Зимнему дворцу, — говорили они, — вы видите, что царь не хочет принять вашей петиции. Мы ничего не добьемся от него с пустыми руками. Мы должны быть вооружены». В ответ

на это с разных концов толпа кричала: «дайте нам оружие!» Разбившись на малые группы, толпа двигалась по соседним улицам, останавливая проезжавших офицеров и полицейских, и отнимала у них оружие. При всем этом, толпа старалась сохранить известный порядок, и хулиганов, пытавшихся громить лавки, может быть даже по наущению полиции, что для нас не ново, рабочие хватали и прогоняли.

Рабочие с Васильевского Острова, собравшись около своего клуба, на 4-ой линии, между Средним и Малым проспектами, намеревались пройти к Зимнему дворцу через мост, ведущий на Адмиралтейскую набережную.

Выслушав приказания своих вожakov и дважды пропев молитву, толпа в полном порядке двинулась в двенадцатом часу по направлению к Неве. Вскоре им преградили путь войска, пехота и кавалерия с саблями наголо. Толпа, на этот раз небольшая, подошла к войскам, на этот раз на расстоянии 20 шагов, и остановилась. Выступила депутация от толпы, и, махая белыми платками и подымая кверху руки, чтобы показать, что она безоружна, старалась объяснить офицеру свои мирные намерения. И здесь также без всякого предупреждения, по приказу офицера, отряд кавалерии с обнаженными саблями врезался в толпу. Толпа быстро расступилась к панелям. Когда кавалерия проехала толпу, пехота взяла ружья на прицел, но на этот раз не стреляла. Кавалерия разогнала сабельными ударами толпу по соседним улицам, где солдаты и полиция многих ранили и убили. Толпа повернула теперь от центра. Рассказы о бойнях в других местах вызвали взрыв негодования среди рабочих. Когда провозили в санях раненого мальчика, толпа кричала: «оружия!» Полицейских разоружали, но желавшим грабить лавки не позволяли товарищи. Кто-то вспомнил о том, что неподалеку есть оружейный магазин, и толпа бросилась туда. По требованию толпы, дро-

жащими от страха руками, сторож с трудом открыл дверь, а другой, не менее испуганный, указал на подвал, где хранилось оружие. Когда дверь в подвал не удалось открыть, несколько человек из толпы влезли в окно и нашли в подвале груды старых, ржавых сабель, кавказских кинжалов, которые и выкинули на улицу. Также были взяты куски железа и все, что могло служить оружием. Когда лавка была разграблена, разнесся слух, что идут солдаты, и толпа двинулась обратно, разоружая отдельных офицеров и полицейских, к 4-й линии, где ее ожидала масса народу, прислушивавшаяся к залпам, раздававшимся по ту сторону Невы. Подходивших вооруженных товарищей толпа встречала восторженными криками. Немедленно через улицу была протянута проволока и за нею сделаны баррикады, между которыми стояла толпа. Показался отряд казаков, но, увидев препятствие, повернул назад. Вскоре пришла пехота и, став в ряды, стала давать залп за залпом. Многие из защитников баррикад разбежались, другие скрылись по соседним домам, откуда бросали в войска камни и другие предметы. Вскоре проволока была перерезана, баррикады разрушены, при чем многие из не успевших разбежаться были убиты, или серьезно ранены.

Едва ли в какой-либо части города была проявлена такая жестокость к рабочим, как на Васильевском Острове. Офицер Гурьев открыто хвастался своею храбростью. Когда он устал рубить саблей, он спросил штык и с ним бросился на молодого рабочего, стоявшего у входа в дом. Гурьев загнал его в дом, и, когда тот бросился вверх по лестнице, Гурьев нагнал его и заколол штыком. Убитый был почти еще ребенок. Гурьев сам рассказывал эту историю. Один из улан с восторгом рассказывал, как он заставлял рабочих самих разрушать баррикады и, когда те отказывались, ударил одного из них саблей, затем ударил другого, а третий уже стал растаскивать бревна. Прово-

лока и баррикады имели целью защитить рабочий клуб от нежелательного вторжения войск. Чтобы облегчить отступление, были силой раскрыты ворота всех ближайших домов. Рабочие имели смутное представление о том, как строить баррикады, но им помог в этом деле один бледный, маленького роста офицер, посвятивший себя служению народа. Трогательно было видеть, как они его слушали и с каким увлечением работали. Напротив помещения рабочего клуба строился дом, и оттуда рабочие брали все материалы для баррикад. Чтобы прекратить правительственное сообщение с этой частью города, были срезаны телеграфные проволоки и спилены столбы. На Малом проспекте и на 6-ой линии также были спилены столбы.

На баррикаде в первом ряду стоял один студент, недавно выпущенный после долгого тюремного заключения. Каким-то чудом он не был ранен ни одним из залпов и продолжал стоять со знаменем в руке, пока его не подняли на штыки и не разорвали. Люди мужественно умирали на баррикаде. После первого холостого залпа один из защитников баррикады, размахивая знаменем, крикнул солдатам: «если совесть вам позволяет, стреляйте!» И немедленно пал, пронзенный несколькими пулями.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Около дворца

Офицер, которому было поручено остановить процессию, двигавшуюся по Шлиссельбургскому тракту, действовал более гуманно. Толпа, более, чем в 10 тыс. человек, двинулась в 9 час. утра, имея в виду дальность расстояния от города. Вел ее председатель отдела союза Петров. Как

и в других местах, в толпе этой было много женщин и детей, и процессия растянулась более, чем на версту. Радостно возбужденная, но мирно настроенная, шла толпа, веря в успех. У Шлиссельбургских ворот ей пресекли дорогу пехота и атаманские казаки. Полицейский офицер и казачий полковник под'ехали и убеждали толпу остановиться, но Петров и еще несколько рабочих подошли к ним, прося пропустить процессию, так как «они не нарушали общественной тишины». Полковник не согласился и повторил, если толпа не послушается, то он вынужден будет стрелять. После долгих пререканий, толпа все-таки двинулась вперед. Тогда раздались три залпа, и толпа пала ниц. Были ли залпы холостые, была ли это случайность, или солдатами руководило сострадание, но никто не был ранен. Толпа встала и снова двинулась вперед. Тогда пехота расступилась и пропустила казаков, которые врезались в толпу. Некоторые оказались ранеными. Петров пострадал сильно, сбитый с ног ударом и потоптанный лошадью. Фактически наступление толпы прекратилось. К счастью, солдаты смешались с толпою и стрелять нельзя было. Командир снова крикнул, что получил приказ не пускать процессии на мост. Вожак поняли эти слова так, что через мост идти нельзя, а другой дорогой можно, и вся толпа бросилась боковой дорогой к Неве, чтобы по льду пройти на противоположный берег к центру города. Многие рассчитывали дойти таким образом до Адмиралтейской набережной, позади Зимнего дворца.

И из других частей города рабочие, несмотря на нападение войск, пробирались в большом числе к центру города и соединились с группой из центрального отдела союза, около Дворцовой площади и по Невскому проспекту.

Как доказало тщательное расследование, предпринятое представителями петербургской адвокатуры, движение по Невскому в это утро, между Знаменской площадью и Поли-

цейским мостом, не прекращалось. С раннего утра до часу дня оно совершалось беспрепятственно, хотя и в больших, против обычных, размерах. Рабочих сперва было мало, но потом количество их возросло. Дворцовая площадь была превращена в военный лагерь.

Внезапно, в половине второго, по приказанию капитана Кавалергардского полка, эскадрон солдат бросился на толпу, которая ожидала нашего прихода у Александровского сада, и стал их рубить саблями и нагайками. Там был абсолютный порядок и тишина, так как толпа, главным образом, состояла из женщин, стариков и детей. Они хватались с отчаянием за перила сада. Тогда раздался залп. Преображенцы давали залп за залпом, очевидно, наслаждаясь избиением невинных. Большинство из жертв были женщины и дети. очевидец рассказывал, что залитое кровью место бойни имело ужасный вид. Сотни пали на месте, и в то же время стали раздаваться непрерывные залпы с боковых улиц Невского. Офицеры и солдаты как-будто перестали быть людьми. Один офицер, на вопрос, зачем стреляют, ответил: «они нам надоели», а другой сказал: «я им говорю разойтись, а они только смеются». В одном месте кучка народа, спрятавшаяся в угол, была вся перебита. Один из этой кучки, оставшийся в живых, выступил вперед и, расстегнув одежду, обнажил грудь и крикнул: «стреляйте сюда!». Раздался выстрел, и малый пал мертвым.

Происходила бойня и на Мойке, у Певческого моста, где кавалергарды, сбив с ног толпу, стреляли в нее. Около Полицейского моста мало по малу собралась толпа, и, когда в четвертом часу на нее напала рота Московского полка, один из толпы поспешил выступить вперед и стал говорить солдатам, что они также были рабочими, и когда окончат службу, снова станут ими. Тогда офицер бросился на него и стал тащить на середину улицы и, когда това-

рищи стали защищать его, он вынул револьвер и выстрелил в них. Один из рабочих упал, обливаясь кровью, но это не удовлетворило офицера и он приказал солдатам стрелять. Мои несчастные рабочие все еще думали, что стреляют холостыми зарядами; но когда раздалась три залпа, на земле лежали кучи убитых и раненых.

Четверть часа спустя на Полицейском мосту послышался сигнал. Стоявшая там мирная толпа не знала, что это значит. Не было ни беспорядка, ни шума, и войска стали в 20-ти шагах от народа. Внезапно раздался залп и пало несколько жертв. Остальные бросились бежать по Невскому и вслед им были сделаны еще два залпа. Невский — такая прямая и широкая улица, что пули бьют на очень большое расстояние и давать там залпы — форменная бойня. Не могу не упомянуть, что во многих случаях у раненых выходное отверстие от пули было больше, чем входное, что, по словам докторов, доказывает, что употреблялись разрывные пули. Кроме Васильевского Острова нигде, кажется, не была проявлена офицерами и солдатами такая беспричинная и страшная жестокость, как здесь. Барон Анатолий Остен-Дризен, капитан Преображенского полка, не состоявший даже в наряде, ударил саблей старика на Миллионной улице. Жерве, офицер Финляндского полка, проявил не только жестокость, но и трусость, прячась в опасные моменты за спины своих солдат. Очевидно, не все солдаты стреляли охотно, так как офицер Преображенского полка Николай Мансуров, скомандовавший первый залп на Дворцовой площади и неудовольствованный наличием кучи убитых и раненых, пошел осматривать ружья у солдат и нашел восемь неразряженных. Эти восемь солдат были немедленно арестованы. Много бедных деток, побуждаемых свойственным им любопытством, или желанием лучше видеть, влезло на деревья. Один из фельдфебелей подошел к Мансурову и, показывая

на ребенка, спросил позволения его благородия снять их; офицер позволил, и пули прекратили жизнь этих малышей. Полные сани детских трупов увозили с этого места, и, как мне говорили, почти у каждого из убитых застыла улыбка на лице, — так неожиданно постигла их смерть.

Так бессмысленны были поступки царских слуг в этот памятный день. Только позднее я узнал подробности о бойнях в различных частях города. Когда я находился в переулке около Нарвской заставы, где моя процессия была разгромлена и рассеяна, мне стало ясным, что то, что произошло здесь, должно было произойти и в других частях города. Я понял, что пока народ не будет вооружен, ничего нельзя достигнуть. Мой друг инженер убеждал меня идти с ним в дом его друга, говоря, что вопрос о том, как добыть оружие, будет сегодня же обсуждаться и, может быть, будет решен. Я чувствовал, что должен немедленно войти в общение с тысячами рабочих нашего союза, которые волнуются не только о судьбе своих родных и знакомых, но и о будущем рабочего движения. Тогда я решил составить прокламацию о значении того, что произошло и сделать соответственный вывод, и затем пошел за моим спасителем.

На улице, по которой мы шли, лежал раненый; в глазах его, когда он смотрел на нас, не было страдания, они светились сознанием, что он пострадал за великое дело. Рабочий, догнавший нас по дороге, сказал, что улицы полны войск и сыщиков. Я предложил сопровождавшим нас разойтись в разные стороны. Мы сами наткнулись на патруль, но он нас пропустил. Немного дальше мы снова наткнулись на патруль, и снова нас пропустили.

Мы шли мимо Балтийского и Варшавского вокзала, оба кишели жандармами. Идя обходным путем, мы постоянно встречали кучки народа, с ужасом и возмущением говоривших об утренних событиях. На каждом шагу мы ви-

дели душу раздирающие сцены. Тут, рыдая на коленях перед трупом ребенка, стояла мать. Там, две дамы перевязывали горло молодой девушке, без жалоб трогательно смотревшей на них. Проходившие мимо рабочие останавливались на минуту, и я слышал, как один из них сказал: «вы пострадали за нас, придет час, когда мы за вас отомстим». Проехал извозчик, боязливо оглядывавшийся на стоявших невдалеке солдат. На извозчике сидел студент, поддерживавший другого студента, бледное и безжизненное лицо которого говорило о смерти. Расстегнутая одежда позволяла видеть страшную рану на груди. Два проходивших рабочих сняли шапки и перекрестились. В двух местах мы наткнулись на кучки тел, лежащих на снегу. Стоявшие на перекрестке войска не позволяли никому подходить к ним. Видели много раненых, прятавших свои раны, чтобы добраться до дому. Всюду ходили патрули, рассеивая народ, который немедля снова собирался в группы.

— Трусые, вас бьют в Манчжурии, а здесь вы стреляете в безоружных, — слышал я из одной толпы. В другом месте, наклонившись над телом парня, может быть своего сына, стояла старуха, причитывая и кляня царя.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Конец бойни

Наконец, мы пришли к дому. Было около часу. Хозяйка заперла меня в комнату и принесла мне поесть. К моему удивлению, я ел с аппетитом. Затем мне дали студенческую пару и повели в дом, где я снова переоделся в обыкновенное платье и где мне обрили бороду. После этого меня отвели в дом одного известного русского пи-

сателя. Тот был страшно взволнован при виде меня и, бросившись ко мне на шею, заплакал. Мне дали стакан крепкого вина и очень просили меня остаться у них, но меня преследовала мысль, что в это время народ убивают, и я должен умереть с ними. Х. убеждал меня лучше пойти немного позднее на митинг интеллигенции, после которого состоится тайное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос, каким образом добыть оружие для народа. Я остался и составил следующую прокламацию.

«Родные товарищи - рабочие! Итак, у нас больше нет царя! Неповинная кровь легла между ним и народом. Да здравствует же начало народной борьбы за свободу! Благодарю вас всех. Сегодня же буду я среди вас. Сейчас занят делом».

Тем временем Х. писал воззвание ко всему цивилизованному миру.

Затем мы поехали в здание Вольно - Экономического общества, неподалеку от Невского проспекта. Войдя в залу, мы застали там большую, возбужденную аудиторию; один за другим на кафедру всходили ораторы и рассказывали о том, что видели сегодня в различных частях города. Услышав о том, что рабочие разбили окно во дворце вел. кн. Сергея Александровича, аудитория неистово захлопала. То же повторилось и при других подобных сообщениях, но я заметил, что никто не говорил о том, что и присутствовавшим следовало выйти на улицу и бороться рядом с рабочими. Когда Х. взшел на кафедру, он воскликнул: «у меня с собой письмо от отца Гапона. Разнесся слух, что он убит. Это неправда, он был у меня в доме», и он прочел мою прокламацию. Аудитория начала аплодировать; тогда он немедля с негодованием остановил ее вопросом, время ли рукоплескать, когда на улицах течет кровь; при этом он сказал, что в зале находится делегат от отца Гапона, который желает говорить.

Взойдя на кафедру, я сказал, что теперь время не для речей, а для действий. Рабочие доказали, что они умеют умирать, но к несчастью, они были безоружны, а без оружия трудно бороться против штыков и револьверов. Теперь ваша очередь помочь им. Когда я сел на место, ко мне подошел почтенный старичок и подал мне револьвер, говоря: «вот на всякий случай хорошее оружие».

Я думаю, что некоторые из присутствующих догадывались, кто я был, но никто не показал и виду. По окончании митинга, некоторые из присутствовавших на нем, в том числе и мой инженер, тайно собрались в соседней комнате. Мы обсуждали вопрос о том, как достать оружие и организовать народное восстание. Пока мы говорили, Х. стоял у двери настороже. Внезапно разнесся шопот: «полиция идет». Один из писателей, бывших на митинге, поспешно подошел ко мне и, взяв меня за руку, быстро вывел меня из дому. Он привел меня к себе домой, где я и написал две прокламации: одну к рабочим, а другую к солдатам. В последней я говорил:

«Солдатам и офицерам, убивающим своих невинных братьев, их жен и детей — мое пастырское проклятье! Солдатам, которые будут помогать народу добиваться свободы — мое благословение! Их солдатскую клятву изменнику царю, приказавшему пролить невинную кровь, разрешаю!»

Свящ. Г. Гапон.

Петербург, 1905 г.
9 янв. 12 час. ночи.

Немедленно было сделано несколько копий и подписано мною; одна копия была послана в тайную типографию, где и была напечатана в большом числе экземпляров.

Написав прокламацию, я сидел подавленный горем, как вдруг мое внимание привлек шум на улице. Посмотрев в

окно, я увидел толпу, бежавшую по направлению к Невскому. Многие в ужасе кричали. Затем я снова услышал отвратительный звук залпов. Я не мог больше оставаться в бездействии и, несмотря на уговоры моего хозяина, вышел из дому. Очутившись на улице, я впервые почувствовал неловкость от несвойственной мне одежды. Вскоре я был на Невском проспекте, где царила пустота. Очевидно, только что проскакали казаки и оставили после себя пустыню. Дойдя до Знаменской церкви, я сел на извозчика и приказал везти себя на угол Обводного канала, где находилось помещение одного из отделов союза. Во всей местности, по которой мы проезжали, было тихо, как в могиле. Кроме патрулей и военных постов, я никого не встретил. Выйдя из саней и подойдя к воротам, я нашел дворника. Было страшно темно, а у меня еще были надеты черные очки, чтобы замаскировать себя. Я сказал дворнику, что я корреспондент одной газеты и просил рассказать, что произошло в отделении союза. Он ответил мне, что все было тихо и спокойно.

— Есть там солдаты? — спросил я.

— Нет, барин, нет.

В это время из-за дворника высунулся маленький мальчик и звонким голосом сказал: «как же, дяденька, и на дворе, и в доме солдаты».

Очевидно, здесь была ловушка для меня, или для вожakov нашего союза. Я, не спеша, вернулся обратно, говоря: «если нельзя ничего узнать, то нечего и оставаться», и немедленно сел в сани и уехал окружным путем.

Мы поехали к другому отделению союза, находившемуся на углу Невского и Дегтярной, но и там были войска. Было около полуночи, и я решил вернуться домой. Мой хозяин был очень обеспокоен моим долгим отсутствием. В доме его я провел ночь.

На следующий день я послал к нескольким членам революционной партии, чтобы найти наиболее влиятельных рабочих, ведущих процессии отделов союза. Но они не нашли ни одного. Одни были убиты, а другие скрылись из дому, боясь ареста. Весь этот день и следующую за ним ночь, убийства мужчин и женщин на улицах столицы продолжались, хотя и в меньших размерах. Всю ночь в воскресенье по всем улицам и мостам стояли солдаты. По моему подсчету в воскресенье было убито от 600 до 900 человек и не менее 5 тыс. раненых. Город был как будто осажденный. Рестораны, лавки, театры были закрыты. Царя и его семейства не было в городе; никто не знал, где они.

11-го января казаки и полиция заменили пехоту. Не было больше массовых убийств, были только нападения на отдельных прохожих в различных частях города и на Васильевском Острове. Я имею основание думать, что войска были напоены и отправлены без предварительных указаний. Эти пьяные солдаты, казаки и полиция, натравленные на народ, совершали жестокости, которые при других условиях были бы невероятны.

Хочу привести два или три примера из множества мною узанных и которые были подтверждены следствием, произведенным петербургской адвокатурой. Каменьщик Байков вышел вечером из дому на Малый проспект. Улица была пустынна и не освещена. Внезапно 4 пехотинца сбили его с ног и уже лежащего кололи штыками. Он потерял сознание, потом, придя в себя, дополз до дому. Товарищ немедленно доставил его в Марининский госпиталь, где на нем было найдено 11 колотых ран на груди и боках и оба легкие повреждены. Студент Починков, приехавший из Архангельска, сел на конку на углу Малого проспекта и 14-ой линии; не успел он сесть, как кто-то крикнул, и несколько сыщиков бросились в вагон, вытащили его от-

туда, и били и терзали его до тех пор, пока он не потерял сознания. Только в больнице, куда его привезли, он пришел в себя. Двое, заступившихся за него, подверглись той же участи. Одного из них, Розова, проходившего мимо и закричавшего: «стойте, вы его убьете», полицейский ударил пашкой по голове, и только меховая шапка спасла его. Он бросился бежать и хотел перелезть через забор, не видя другого спасения. Городовой схватил его и снова стал бить, пока казак не закричал: «будет!» Тогда его положили в сани и повезли в больницу. Другой рабочий, Степанов, видя, как, приблизительно, десять красных драгун и несколько хулиганов, вернее переодетых полицейских, били студента, спросил: «за что бьют?» В ответ Степанов был сбит и на него посыпались сабельные удары по голове, шее и спине; затем его взяли в участок и оттуда отвезли в больницу, где он пролежал две недели. Случалось, что даже и дворники страдали от этих нападений. Петр Коробов, младший дворник одного из домов по 12-й линии, стоя на дежурстве, услышал шум на Малом проспекте и пошел посмотреть, в чем дело. Внезапно два конных солдата с пашками наголо набросились на него и ударили его несколько раз по голове. Когда он возвратился назад, он увидел, что ворота закрыты, и вернулся на Малый проспект. Здесь он увидел группу солдат и возле них кучу тел, очевидно, рабочих. Он направился к солдатам, рассчитывая на их защиту, но, вместо того, получил несколько ударов прикладами. Его сшибли с ног, он потерял сознание и был брошен в ту же кучу. Когда же, наконец, улица была совершенно очищена, солдаты подняли своих жертв, связали их телеграфной проволокой и отправили в кадетский корпус. Там их перевязали и, насколько могли, выяснили личность. Дворник сообщил офицеру свою профессию и просил, чтобы его освободили, так как думал, что его арестовали по ошибке. Однако, его

вместе с другими жертвами отправили в Спасскую часть и, несмотря на то, что он подал прошение градоначальнику, его освободили через три недели, вместе с другими 84 заключенными. Перед уходом объявили, что он был арестован за участие в запрещенном сборище на улице (хотя в момент ареста он был один). Теперь же он очутился без места и без средств к существованию. Было много подобных случаев, и установлено, что многие из жертв были подвергнуты различным истязаниям.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Царь и его „дети“

Какими бы жестокими и бессмысленными не представлялись эти события жителям свободных стран, все они принимают еще более мрачный вид, если принять во внимание тот цинизм, с которым царь и Трепов устроили поддельную депутацию 11 января. После уничтожения нескольких тысяч жизней и нанесения неслыханных бедствий своей стране из-за желания народа послать к нему депутацию, царю вдруг пришла мысль в голову, что все-таки он может и принять депутацию. Хотелось ли ему рассеять впечатление этого ужасного дня, или он просто желал пустить пыль в глаза цивилизованному миру—сказать трудно. Какая бы ни была причина, депутация была принята. Вот как она была устроена, согласно простодушному рассказу одного из рабочих, который принимал участие в этом фарсе.

«Утром 11-го января, околоточный пришел на нашу фабрику и сказал, что им нужен рабочий, как представитель от фабрики; нужно, чтобы он был религиозен, чтобы за ним никаких проступков не числилось, не особенно ум-

ный, но со здравым смыслом, не молодой и не старик». Двух таких людей нашли: меня и Ивана. Околоточный пришел к нам и велел идти в участок. Я его спросил: «Зачем? У меня жена и дети». «Не бойся», — ответил он, — и увел нас с собой. Я очень боялся и думал: «Господи, за что ты меня наказываешь?» Однако, мы могли бы и не волноваться, так как никакого вреда нам не причинили.

Нас привели в участок, раздели до гола и затем приказали вновь одеться. Затем посадили в сани и повезли к Зимнему дворцу. Здесь мы нашли тридцать других человек, уже ожидающих кого-то. Мы ждали час, два часа. Становилось очень скучно. Вдруг двери открылись, и вошел очень строгий генерал. Мы все низко поклонились. Он посмотрел на нас пристально и сказал: «Ну, господа, сейчас вы будете очастливлены беседою с царем. Только молчите, когда он будет с вами разговаривать и продолжайте кланяться». Мы опять поклонились генералу. После этого в царских экипажах нас повезли из Зимнего дворца на вокзал и отправили специальным поездом в Царское Село. Привезли во дворец и оставили в зале дожидаться. Опять ждали очень долго. Наконец, двери открылись и вошел царь-батюшка, окруженный генералами и с листком бумаги в руках. Мы все низко поклонились, а он, даже и не взглянув на нас, начал читать со своего листка. Был очень взволнован. И прочел он нам, что все, что было написано — правда, затем сказал: «возвращайтесь к вашей работе. До свидания» — и удалился. Мы продолжали стоять в ожидании и думали про себя, ну что теперь должно случиться? Но ничего не случилось. Нас повели на кухню и угостили обедом, действительно царским обедом, с водкой. Затем посадили в экипажи и повезли на вокзал. В город мы возвратились обыкновенным поездом и домой с вокзала пошли пешком».

В течение двух следующих дней я несколько раз менял местожительство, так как со всех сторон до меня доходили слухи, что власти, желая схватить меня, усердно ищут. Я оставался в Петербурге, в надежде, что рабочие найдут каким-либо путем оружие, и произойдет восстание. Все доказывало, что население города, за исключением лиц, близко стоящих к царю, не только созрело для революции, но горело желанием сбросить самодержавие. Те факты, которых я был свидетелем, и те, о которых мне передавали очевидцы относительно действий власти в эти ужасные дни, доказывают, что народ сделал все, чтобы осуществить свое желание. Вот почему я думал, что восстание возможно, и, конечно, считал своею обязанностью стать во главе движения. Я организовал и повел народ на мирную демонстрацию, тем более моею обязанностью было вести его тем единственным путем, который нам оставался.

Но все расположенные ко мне люди и друзья, прятавшие меня в течение этих двух дней, и в особенности упомянутый писатель, были убеждены сами и меня старались убедить, что в настоящий момент не было надежды на вооруженное восстание, и что лучшее, что я могу сделать для будущего моих рабочих, это уехать из города, чтобы избежать ареста, одинаково пагубного, как для меня, так и для них.

«Вы необходимы для революции в тот момент, когда для народа настанет час отмщения. Уезжайте, а мы пока подготовим восстание». Я все еще не решался уехать, желая подождать, чтобы положение выяснилось. Но вечер 11-го января положил конец моим колебаниям. В этот день генерал Трепов, который, как я уже говорил, отнесся ко мне недоброжелательно и которого я всегда знал за жестокого деспота и самоуправца, был назначен петербургским генерал-губернатором и водворен в Зимнем дворце.

Я ясно понял, что правительство вступило на путь репрессий, и что бойня последних дней была только первой страницей этой политики. В ночь на 11-ое все члены либеральной партии, которые по моей просьбе ходили к Святополк - Мирскому и к Витте, т. е. Максим Горький, присяжный поверенный Гессен, известный историк Кареев, публицист Пешехонов, профессор Мякотин, гласный думы Кедрин, Иванчин - Писарев, один из редакторов журнала «Русское Богатство», историк Семевский и присяжный поверенный Шнитников были арестованы и заключены в крепость.

Одновременно начались массовые аресты в столице, и лучшие мои рабочие, счастливо избежавшие смерти, были также заключены в тюрьму. Таким образом, всякое общение с моим союзом стало невозможным в данное время. Я сделал все, что мог, чтобы получить сведения о том, насколько осуществимо вооруженное восстание, но все, что я слышал от своих друзей прогрессистов и революционеров, было одно другого неутешительней. Комитет, собравшийся в Вольно - Экономическом обществе, не мог ничего сделать. Мне было ясно, что, хотя в данный момент революционное настроение в народе и было интенсивнее, чем когда - либо, но не было способа проявить его. «Теперь вы видите, — сказал мне мой хозяин, — что предпринимать что - либо немедленно, значит жертвовать бесполезно собственной жизнью и нас подвергать неприятностям. Уезжайте из столицы, а мы будем поддерживать сношение с вами».

Хотя я сознавал, что противиться далее было безумием, но неохотно уступил. Но куда же ехать? Друзья указывали мне на Финляндию и другие места вблизи Петербурга, но отовсюду приходили вести, что везде рыщут сыщики, что паспорта строго проверяются и полиция всюду меня ищет. Наконец, мы выбрали место, куда бежать,

и стали разрабатывать план бегства. Один из присяжных поверенных дал мне свой паспорт, который я обещал ему возвратить, как только буду вне опасности.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Мой побег

Снова я изменил свою внешность, надел пенсэ, статский костюм и великолепную шубу. Утром 12-го я поехал на станцию в сопровождении одной дамы. В кармане у меня был револьвер, которым я решил защищаться в случае надобности. Было условлено, что один из моих знакомых возьмет для меня билет на Царскосельском вокзале и незаметно передаст мне его, а другой знакомый будет меня там ожидать и наблюдать за жандармами, чтобы, в случае опасности, предупредить меня. Выйдя из саней, я увидел, что вокзал кишит жандармами и перодетыми сыщиками, которые впивались глазами в лица приезжавших. Некоторые пристально смотрели на меня, но трудно было теперь узнать во мне знакомого им священника с длинной бородой. Несколько жандармских офицеров ходило взад и вперед, как бы всматриваясь в кого-то. Сознывая, что только полнейшее самообладание может спасти меня, я смело остановил одного из жандармских офицеров и попросил огня, чтобы закурить. Тот дал мне спичку, я поблагодарил его и продолжал гулять по платформе, покручивая усы. Вскоре я увидел своего друга, который, пройдя совсем близко от меня, безмолвно и незаметно сунул мне в руку мой билет.

Как только подали поезд, два жандарма и сыщик стали у дверей на платформу проверять билеты выходявших пассажиров. Я счастливо прошел мимо них и сел в вагон

второго класса. Поезд тронулся. Все шло хорошо. Мой друг сидел в соседнем отделении, и, хотя мы и делали вид, что незнакомы друг с другом, но некоторое расстояние ехали вместе. Когда мы под'ехали к известной станции, мы вышли из вагона. Мой друг взял билет и снова тем же способом, как и раньше, передал мне его, и мы поехали обратно. Мы так проделали не меньше 4-х раз. Наконец, поздно ночью, мы приехали в назначенное место, проведя целый день в раз'ездах взад и вперед и, в сущности, от'ехав весьма недалеко от Петербурга.

Несмотря на позднее время, мой друг уехал с обратным поездом в Петербург, мне же предстояло нанять лошадей и ехать в окруженную лесом усадьбу, где я и должен был скрываться. Перед от'ездом из Петербурга друзья надавали мне массу разных вещей, которые, как они думали, могли быть мне полезны, так что багажа у меня было много. Я отправился в соседний со станцией дом и просил дать мне лошадей. Хозяин спросил меня, кто я и куда еду, и когда я ответил, что хочу купить имение X, лицо его просияло. Он стал расспрашивать меня, и я должен был с серьезным видом записывать все сведения об урожаях, рыночных ценах и т. д. Наконец, мы поехали. Озябший, усталый, я приехал к усадьбе за полночь.

Дом был двухэтажный, и хозяин поместил меня во втором этаже, где был балкон, с которого лестница вела прямо на землю, на случай какого-либо нежелательного посещения. На следующий день хозяин повез меня в санях по лесу для того, чтобы я, на всякий случай, знал дорогу. Были приняты все меры, чтобы мое местопребывание не было открыто.

Было условлено, что мне пришлют из Петербурга два аспорта: один для пребывания в России, другой для бегства за границу, в том случае, если надежда на вооруженное восстание окончательно рухнет. Но дни проходили за

днями, и я не получал никаких известий из Петербурга. Целую неделю прожил я в страшной тревоге. Днем катался на лыжах, а по ночам мне не давали спать воспоминания о пережитом на прошлой неделе и беспокойство о том, что делается в Петербурге. Я не понимал, почему молчат мои друзья. Неужели они были вынуждены к этому грубой силой? Неужели возможно, чтобы Россия не сумела достойно ответить на такую, небывалую в летописях человечества, жестокость? Увы, я скоро узнал, что, хотя ответ и последовал со стороны моих благородных соотечественников, но что сила гнета была еще неодолима.

Через 7 дней внезапно приехал гонец из Петербурга. «Вы должны бежать немедленно, — сказал он, — мы имеем основание думать, что власти напали на ваш след». И он в таких мрачных красках обрисовал мне современное положение, что я решил бежать, не ожидая паспорта, который должен был притти завтра. Правда, всюду в России шло брожение, во всех больших городах происходили стачки, но, за недостатком оружия, все они носили мирный характер. Мне предстояло или бежать, или быть арестованным. Этот же гонец составил мне мой маршрут и дал адрес того лица, которое должно было провести меня через границу. Я должен был ехать до Пскова, а там пересечь на Варшаву, но, доехав до Вильно, должен был возвратиться на Двинск, а оттуда через Ш. ехать к границе. Поезд, с которым я должен был ехать, отходил от соседней станции через несколько часов.

Вскоре лошади и сани были готовы. Ночь была страшно темная, и завывала снежная буря. Ветер шумел ветвями голых деревьев. Буря сметала местами снег в кучи, с других же сдувала до льда. Мы ехали очень тихо, с трудом различая дорогу. Казалось, что ветер проникал даже в кости, и я стал окоченевать. Казалось, какие-то демонические силы справляли карнавал. Хотя нам надо

было проехать всего несколько верст, но нам казалось, что мы едем без конца. Я крикнул кучеру, чтобы он ехал скорее, и, хотя он сидел на расстоянии 2—3-х футов от меня, но меня не слышал. Нетерпение все более и более овладевало мною. Вдруг лошади остановились, и, повернувшись ко мне, кучер сказал:

— Барин, мы потеряли дорогу.

Мной овладело отчаяние. «Что же делать?» — спросил я, трогая его за руку.

— Подождите здесь, барин, а я пойду искать дорогу. Я согласился, прося его не отходить далеко, и обещал кричать, чтобы он знал, где я. Вероятно, он отсутствовал не более десяти минут, но мне они показались вечностью. Несомненно я не успею к поезду. Вокруг саней и лошадей ветер быстро наваял целые горы снега. Лошади дышали тяжело и время от времени поднимали ноги, чтобы отряхнуть снег. Я кричал, но не получал ответа. Внезапно кучер вынырнул около меня и сказал: «Мы сбились с дороги и сделали, по крайней мере, шесть верст крюку». Он сел на козлы, ударил по лошадям, которые с трудом сдвинули сани, и мы поехали дальше. Путь казался мне бесконечным. Наконец, полузамерзшие, мы приехали на станцию, опоздав на несколько часов. Оказалось, что мы не были единственными жертвами снежной бури. Заносы по линии железной дороги задержали поезд, и нам предстояло ожидать его. Как я уже сказал, я должен был сесть на поезд, но опоздал, а следующий поезд уходил через семь часов. Вскоре я обратил внимание на странное поведение станционных жандармов; они как будто наблюдали за мною. Меня это очень беспокоило, так как каждую минуту у меня могли спросить паспорт, а его у меня не было и меня немедленно арестовали бы. Отдав на хранение свой багаж носильщику, я со станции отправился в город, где закусил и долго гулял по улицам, по-

том вернулся на станцию, где мне предстояло ожидать еще 2 с половиной часа.

Я вошел в зал второго класса, лег на скамью и глубоко задумался. Вдруг, как бы под влиянием магнетической силы, я поднял глаза и увидел устремленный на меня взгляд человека, одетого в штатское платье. Его пронзительные глаза, его нос и вся внешность напоминали мне фокс-терьера. По тому, как он смотрел на меня, я заключил, что это сыщик. Я встал и, спокойно пройдя мимо него, пошел в зал 3-го класса, где и лег на скамью, и закрыл глаза. Спустя некоторое время, все еще притворяясь спящим, я приоткрыл глаза и снова увидел этого сыщика, пристально смотрящего на меня. Беспокойство охватило меня, в особенности, когда вошел жандарм и поздоровался с сыщиком. Ко мне они не подходили, может быть, не находя нужным теперь же арестовать меня, так как могли это сделать на каждой станции, а до того времени могли выследить моих сообщников. Предположение мое подтвердилось, когда я увидел сыщика, стоящим около моего носильщика и рассматривающим мои билеты. Вторично пришлось мне идти мимо сыщиков и жандармов, чтобы сесть в вагон.

Когда я проходил, один из них спросил другого: «Это он?» — Да, — ответил тот. Я сел в вагон, и поезд тронулся. Я все еще был свободен. Я был убежден, что сыщик телеграфировал в Варшаву или Вильно, или на одну из промежуточных станций, чтобы меня там арестовали. Тогда я решил выйти из поезда раньше, чем это случится. Некоторое время я не мог исполнить своего намерения, так как в вагоне были и другие пассажиры. Мало-по-малу, один за другим, они вышли. Тогда и взял карту, чтобы ориентироваться, где я. Очень трудно было решить, куда направиться. Наконец, я решил выйти на станции С., не доезжая городка Ш., и там попытать счастья.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

На пути к свободе

Незадолго до приезда на указанную станцию, ко мне в отделение вошел железнодорожный служащий, который показался мне одним из тех честных и простых людей, которые всегда вызывали мое расположение и внушали доверие. На мой вопрос, куда он едет, он ответил: «в С.» «И я туда же», — сказал я. «У меня там серьезное дело, касательно женитьбы, но я не знаю, где бы мне остановиться; не можете ли посоветовать». Рабочий ответил мне, что, как уроженец местечка, он может с закрытыми глазами найти каждый дом. Тогда я стал говорить рабочему о том, что желал бы неожиданно приехать к невесте, чтобы проверить, справедливо ли все, что мне о ней говорили. На станции у меня есть знакомый, так нельзя ли выйти задним ходом, чтобы меня не видели, и пройти на постоянный двор. Рабочий сперва приглашал меня к себе, но потом, вспомнив, что у него в доме ночует много народу, сказал, что проведет меня на соседний постоянный двор. Я обещал ему за труды полтинник, чем он был, видимо, доволен. Когда мы под'езжали к станции, он взял мои вещи, и, выйдя из вагона, мы очутились в темной улице; изменив свое намерение, рабочий отвел меня в дом своего знакомого, поляка. «Хороший человек, — сказал он, — и жена у него хорошая». И, действительно, жена его была очень гостеприимна. Вскоре вернулся домой ее муж. Хотя уже был час ночи, когда я приехал, но мы еще долго разговаривали с хозяевами и, чем больше говорили, тем больше мне нравились эти простые люди. Когда вопрос коснулся Польши, и я высказал сочувствие к незаслуженным стра-

даниям этой несчастной страны, глаза хозяина засверкали. «Я вижу, что вы любите свой народ и свою родину, и хотел спросить вас, что бы вы сделали человеку, который не словами только, но и действиями участвовал в борьбе русского народа за свою свободу». «С восторгом сделаю все», — ответил он. — «Человек этот я», — сказал я. Сыщики преследуют меня по пятам. Я должен бежать из России на некоторое время. Итти на станцию я не могу; единственный для меня путь, это ехать на лошадях до Ш. Далеко это?» «Около 200 верст». «Возьметесь ли вы отвезти меня туда?» «Повезу вас куда вам будет угодно». Утром рано мы выехали. Было страшно холодно, и выпал снег. Шуба моя, с виду очень нарядная, не защищала меня от холода, и хотя хозяин и дал мне бурку, но я все-таки зяб. Мы поехали окольным путем и потому часто сбивались с дороги. С трудом добравшись до ближайшей деревни, мы там отдохнули, переменили лошадей и кучера еврея заменили поляком. Таким образом, ехали мы день и ночь от деревни к деревне, выбирая уединенные хуторки, чтобы закусить колбасой, хлебом и водкой. В одной из деревень мы остановились у корчмы, чтобы обогреться и поесть. Не успели мы сесть за стол, как отворилась дверь, вошел жандарм и подозрительно посмотрел на нас. Это заставило нас поторопиться с отъездом, и я приплатил лишнее, чтобы иметь лучших лошадей. В следующей корчме, где мы остановились, чтобы дать отдохнуть лошадям, хозяин корчмы, еврей, внимательно взглядываясь в нас, сказал:

— Понимаю! Но этот кучер не годится, доезжайте с ним до К. и там отпустите, а я вам дам адрес, и там устроят все, что нужно. Несомненно, он догадался, что я собираюсь бежать через границу.

Такое участие тронуло меня и я предложил ему несколько рублей.

Он с негодованием отказался, сказав: «Дело не в деньгах».

Мы благополучно добрались до городка К. и отправились по данному нам адресу. Отпустив кучера, я сел обедать с сопровождавшим меня поляком. Хозяин наш, также еврей, и его две дочери прислуживали нам. Очевидно, что они понимали в чем дело и старались выказать нам сочувствие. Тем временем бушевавшая два дня буря стихла, и погода прояснилась. Поданная нам жареная индейка, теплая комната, оказанное нам участие были для меня наслаждением после 3-дневного тяжелого путешествия. Вскоре хозяин привел к нам нашего нового кучера, человека средних лет, со строгим и интеллигентным лицом. Пока мы с ним уславливались, в комнату вошел жандарм. «Чорт побери, — прошептал хозяин, почесывая голову, — но не бойтесь, он пришел только за своими тремя рублями». Жандарм подошел к нам, я предложил ему папирску, и вскоре мы все четверо дружески разговорились. Через несколько минут хозяин отвел жандарма в сторону, сказал ему несколько слов и что-то сунул ему в руку. Лицо жандарма просияло, и он подошел проститься с нами, пожимая нам руки и говоря, что был рад познакомиться и пожелал нам успеха. Хозяин объяснил мне, что в деревне было не менее 8 жандармов, и все они были в стачке с контрабандистами и взыскивали с каждого проезжающего через деревню к границе по три рубля, которые и делили между собой. Доход этот был настолько значителен, что редкий из жандармов бывал трезв. Лошади были поданы, мы тронулись в путь, и тут выяснилось, что наш кучер был страшный пьяница. Он не пропускал ни одной монопольки, чтобы не выпить. Отпуская нас, хозяин дал нам подробные и точные указания, каких деревень избегать, в каких останавливаться и т. д. Всю ночь мы ехали по лесистым и гористым местам; было так

темно, что нам приходилось брать с собой мужиков, которые указывали нам дорогу. На следующий день мы приехали после 4-дневной непрерывной езды в деревню, отстоявшую в нескольких верстах от границы, где мой поляк должен был меня покинуть. Расставаясь, мы обнялись дружески, и я отправился к тому лицу, которое было мне указано моими друзьями в Петербурге и которое должно было перевести меня через границу. Лицо это оказалось весьма осторожным, и хотя я и провел у него несколько часов днем, но на ночь он повел меня к соседу. Мы условились, что я оставляю у него свой багаж и он дошлет мне его впоследствии, если мне удастся благополучно перейти границу.

На следующий день я переделался в крестьянское платье и поехал в пограничную деревеньку Т. Было воскресенье и мои спутники пошли в церковь, оставив меня отдохнуть в избе. Этот день едва не стал последним в моей жизни. Страшные холода заставляют крестьян герметически закрывать свои избы, замазывая двойные рамы. Я лег спать, радуясь теплу от печки, и, когда два часа спустя за мной пришли контрабандисты, они нашли меня в полубессознательном состоянии. Немедленно были открыты форточки и меня вынесли на двор, где я вскоре пришел в себя. Мы все впятером и поехали к дому, стоящему у самой границы. Здесь меня поручили одному молодому поляку, который, как оказалось впоследствии, не заслуживал доверия. Он пошел предупредить дежурного солдата о нашем приезде.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Я перехожу границу

Я должен объяснить, что вдоль всей западной границы России живет население, значительная часть которого — профессиональные контрабандисты, занимающиеся одновременно и переводом беглецов через границу, входя для этого в сделку с пограничной стражей. Вечером желающие перейти границу собираются в одиночку, или партиями и платят пограничникам от одного до трех рублей с человека. Опасность грозит только со стороны сыщиков, живущих по соседним деревням, а также в случае внезапной замены прежней пограничной стражи новой, с которой еще не успели войти в сделку, и потому она стреляет в каждого, желающего перейти границу. Случается также, что, узнав о злоупотреблениях, из Петербурга присылают офицера, специально для наблюдения, и тогда все планы рушатся.

Раньше контингент бежавших через границу состоял преимущественно из крестьян, рабочих, евреев, поляков, литвин и других, гонимых отчаянием и всякого рода неурядицами из России в свободные страны, преимущественно в Америку. Взять паспорт стоит больших для них денег, и они предпочитают более дешевый, хотя и более рискованный способ перескочить границу. За последние годы контингент бегущих через границу состоит большею частью из политических, из преступников, из бегущих от воинской повинности и дезертиров резервистов. Все эти люди не могут, конечно, получить законного паспорта и предпочитают заплатить большие деньги контрабандистам, которые и берут за это очень дорого, потому

что в случае поимки их заключают в тюрьму и подвергают строгим карам, чем и разоряют их и их семьи. Кроме того, на границе живут люди, которые, принадлежа сами к революционной партии, способствуют бегству политических через границу. Доставка контрабанды, в том числе и запрещенной литературы, производится тем же путем и, как занятие очень опасное, оплачивается дорого. Так, например, провезти в Россию пуд нелегальной литературы стоит не менее 50 р., а иногда и 100 и более. Если принять во внимание, как часто эти тюки арестовываются, бросаются в реку, или уничтожаются каким-либо другим способом, то можно себе представить, какие бодьшие расходы доставка этой литературы накладывает на революционную партию.

Мой проводник долго не возвращался; оказалось, что он в это время пил с солдатами, и это занятие так им понравилось, что когда он вернулся, то был так пьян, что не был способен ни к какому делу. Со слов его семьи я понял, что он пропил все деньги, которые я дал ему на дело. Он забился в угол спать, и, когда несколько часов спустя он проснулся и пришел в себя, оказалось, что солдат был уже сменен. Это известие взволновало всю его семью, так как она сознавала свое обязательство передо мною. Другого исхода не было, как остаться у них ночевать. На другое утро проводник мой, на этот раз трезвый, разбудил меня и предложил следовать за ним. Мы взяли с собой мальчика лет 12-ти. Через несколько минут проводник мой встретил товарища, который сказал ему, что перейти границу в данную минуту было невозможно, так как там стояли два новых солдата; но я настаивал итти дальше, так как утро было туманное и мы находились всего в 100 шагах от проволочного забора, отделяющего Россию от Германии. Я остался один с мальчиком, и мы бросились бежать от одного здания к другому. Я видел, что дело не

безопасное и держал наготове свой револьвер. Вдруг мальчик схватил меня за руку и испуганным голосом закричал: «За нами бежит солдат». Затем я услышал крик «стой!» и, оглянувшись назад, увидел в 20 шагах солдата, бегущего по глубокому снегу. Мы бросились бежать, но солдат догонял нас. Когда он был уже в нескольких шагах, он упал. Это была необыкновенно счастливая случайность. В следующую минуту мы уже подлезали под проволочную изгородь, и в первый раз в моей жизни я стоял на чужой земле. Я ожидал выстрела, но его не последовало, и мы продолжали свой путь. Сперва это показалось мне странным, но позднее я узнал, что месяц тому назад один человек был убит русским солдатом по ту сторону границы. Прусские пограничники донесли об этом своим властям. Это повело к серьезным осложнениям и вызвало более точные инструкции для русской пограничной стражи.

Тем временем мы продолжали бежать к ближайшему дому. Почувствовав себя в сравнительной безопасности, я спросил моего маленького спутника, не испугался ли он. «Испугаться солдата? Никогда!» — ответил он с сердцем. Тот дом, к которому мы бежали и где нас гостеприимно встретили, принадлежал одному немцу. Здесь я попросил дать мне другую одежду, взамен которой оставил свою. Когда были поданы лошади, хозяйка села в сани со мною и с мальчиком и отвезла нас в соседнюю кормчу, находившуюся на расстоянии полумили. Сюда контрабандисты должны были доставить мой багаж, но его еще не было. Наконец, я вздохнул свободно и, подкрепив себя едою, протиснулся с мальчиком, дав ему 5 рублей, которые он тщательно спрятал за пазуху. После некоторого размышления, я решил ожидать свой багаж. Спустя несколько часов в гостиницу вошел человек, высокого роста, с нахальной физиономией и, подойдя ко мне, обратился по-

русски с вопросом: «Куда вы едете? и как идут дела в Петербурге?» Я ответил: «Ничего о Петербурге не знаю». Но он настойчиво продолжал расспрашивать: кто я? на что я ему ответил, что я дезертир. «А, — сказал он, — так я приведу вам ваших соотечественников, которые будут очень рады вас видеть», и с этими словами он вышел из комнаты. Хозяйка, поманив меня пальцем, прошептала: «Это агент русской полиции; вам бы лучше сейчас уехать», — и приказала кучеру приготовить лошадей. Но, прежде чем она вернулась, снова появился агент, но на этот раз с двумя другими. Меня предупреждали, что Германия выдает дезертиров, но это слово случайно сорвалось с моего языка. Очевидно, необходимо было бежать. Я видел в окно, что лошадей уже зануздали. Хозяйка вошла в комнату и заняла агента разговором. «Я забыла отдать вам письмо», внезапно сказала она, многозначительно кивнув мне головой, увела агентов в соседнюю комнату. Сделав вид, что я следую за ними, я бросился к двери, прыгнул в сани и помчался. Оглянувшись назад, я увидел, как агент выбежал из гостиницы, но других лошадей не было, и я скоро потерял гостиницу из виду и направился в Тильзит.

День прошел без приключений. Приехав в Тильзит, я первом делом обрелся и затем отправился в дом, который был мне рекомендован моими петербургскими друзьями. Весь дом был наполнен русскими революционными изданиями. Любопытство мое было крайне возбуждено, но мой хозяин не знал ни слова по-русски, а я ни на каком другом не умел говорить. Вскоре он привел своего друга, весьма симпатичного юношу Х., который говорил по-русски, и я узнал, что я находился в рассаднике русской революционной деятельности. В дом входили и выходили люди, заделывали в тюки запрещенную литературу и уносили из дому.

Меня удивили те сведения, которые мой хозяин имел обо мне и о недавних событиях, и я навел на них разговор. Очевидно, он очень интересовался отцом Гапоном и высказывал ему большое сочувствие. Я решил довериться ему и, обязав его сохранить тайну, сказал ему, кто я. Он был поражен и, очевидно, не доверяя мне, принимался расспрашивать меня. Наконец, убедившись в правде, он сказал, что как он сам, так и его друг Х., оба принадлежат к Литовской социал-демократической лиге. Они дали мне паспорт и Х. сопровождал меня до Берлина, откуда я намеревался поехать в Швейцарию, боясь, что в Германии я не в безопасности от ареста и выдачи. Перебивав в Берлине, при чем за меня расписался Х., я через сутки был свободным человеком в свободной стране.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Будущее русской революции

Я был в Швейцарии, Париже, Лондоне и всюду видел ту атмосферу свободы, которая способствует мирному развитию народных масс и делает невозможными те события, в которых я принимал участие в последнее время. Я жил в новом для меня мире, но только для того, чтобы преобразовать тот старый мир, который я оставил позади себя. Дважды я избежал смерти: первый раз от солдатских пуль у Нарвской заставы, а второй раз избежал ареста, который несомненно кончился бы для меня весьма печально, заключением в Петропавловской или Шлиссельбургской крепости.

Более чем когда-либо, я чувствовал, что жизнь моя принадлежит моему народу, и что я должен напрочь всю свою энергию к тому моменту, когда мне можно будет вернуть-

ся к моим рабочим, чтобы вывести их на стезю свободы и благоденствия.

Прошло несколько месяцев, и день этот стал ближе. Январские убийства были откровением, совершенно изменившим настроение нации. Этот поступок царского правительства был последним штрихом в деле народного воспитания, над которым трудились революционеры. Долгие годы нестроения и вытекающие из него горе и нищета и, наконец, эта преступная и бессмысленная война, столь же ненавистная, как и пагубная, подготовили почву для пропаганды революционных партий. Самодержавие последнего столетия сделало у нас голод обычным явлением, довело наши финансы почти до банкротства, в корне разорило народное хозяйство, погубило тысячи и тысячи молодых жизней. В то время, когда весь народ кричал о необходимости переменить политику и требовал хотя бы отдыха от того гнета, который так долго его давил, царское правительство в своей отеческой заботливости о благе народном не нашло ничего лучше, как тратить миллионы на постройку железных дорог, крепостей и заказов броненосцев за границей и, наконец, начать эту небывалую по позору войну, обнаружившую всю нашу неспособность и развращенность. Повторяю, что 9 января было последним штрихом, вызвавшим в народном уме правильную оценку всех этих фактов. Это был последний неизбежный урок, подтвержденный всеми последующими событиями. С беспримерным единодушным город за городом отзывался на крик ужаса петербургских рабочих, и бастовать стали все — учителя, адвокаты, журналисты, крестьяне, начиная с Москвы и Риги. Забастовки охватили все промышленные районы на юге, не исключая степей Черного моря и Кавказа.

Чтобы правильно оценить это движение, нужно принять во внимание то страдание, которое оно вызывает; надо

вспомнить, что громадное большинство русских рабочих не имеет сбережений, живет от месяца до месяца и даже редко имеет одежду или мебель, которую может заложить или продать. Забастовки, длящиеся недели и месяцы, проходят среди плача голодных детей и рыданий страдающих матерей.

Вскоре и крестьяне примкнули к революции. Аграрные беспорядки стали вспыхивать повсюду и преимущественно в Остзейском крае, центральных губерниях, около Одессы и на Кавказе. Подавляемые силой и кровопролитием в одном месте, они с еще большей силой и в больших размерах вспыхивали в другом. И здесь правительство сделало все, чтобы усугубить ужас положения. По приказанию министров и главы православного духовенства, деревенские священники и сельская полиция возбуждали крестьян против «интеллигенции», против докторов и студентов, которые им служили в тяжелые годы голодовок и эпидемий, против помещиков, которые им не нравились. Во многих местах высшая администрация организовала кучки хулиганов, так называемые «черные сотни», которые называли себя «истинно-русскими людьми», и натравливала их на интеллигентные классы и на все, что не было православным, т. е. евреев, армян, рассказывая им, что все они подкуплены Японией и Англией, чтобы погубить Россию.

В результате получилось, что помещики должны были бежать в города, но и там, не считая себя в безопасности, стали приобретать себе оружие и организовывать самооборону.

Аграрный кризис был одной из причин, почему крестьянское движение обрело такую силу, и более либеральные дворяне примкнули к нему. Евреи, поляки и армяне проявили еще большую энергию. Массовые убийства последних были систематически и искусно организованы

правительством. Убийства армян — в Баку, Батуме, Тифлисе и других городах; убийства евреев, сведения о которых мы постоянно получаем; избиение евреев и поляков в Лодзи, где народ открыто восстал, — все эти преступления создали гражданскую войну во всей России.

Но это еще только начало. Вынуждая все классы населения, каждую национальность на самозащиту против военной силы, и делая из этого вопрос жизни и смерти, правительство готовит нам революцию, перед которой великая французская революция, покажется борьбой лилипутов. Что сделал царь и бюрократия, чтобы избежать этой беды? Абсолютно ничего. Каждый указ о реформе немедленно дискредитировался какой-нибудь уловкой и еще больше тем, что исполнение его поручалось тем самым лицам, преступления которых вопиют к небу о мщении. Так, например, в феврале царь издал указ о свободе совести, но указ этот не разрешал свободу религиозных диспутов, он не касался шести миллионов евреев, многих миллионов магометан и других нехристианских вероисповеданий. И эта частичная свобода, данная христианским вероисповеданиям, в большинстве случаев была сведена к мертвой букве местными чиновниками, не получившими инструкций. Что же может принудить к осуществлению указа, когда гласность не существует? Затем, Земская дума, дарованная в августе, разве это не наглая насмешка над постоянным парламентом и над требованием народа конституции. Дума эта не дает народу никаких прав и задумана так, чтобы быть новым орудием для укрепления самодержавия и бюрократии. И теперь, когда я пишу, я узнал, что в 28 губерниях неурожай, и большей половине России грозит голод. Кто придет на помощь десяткам миллионов голодающих крестьян? И откуда придет помощь, если не встанет вся Россия, чтобы с оружием в руках сбросить самодержавие и бюрократию, не останавливаясь перед

жертвами. К счастью, жертвы не будут столь велики, как их можно было ожидать еще несколько времени тому назад. Есть много признаков, которые указывают нам, что правительство все более и более слабеет в братоубийственной войне. «Князь Потемкин», «Георгий Победоносец», «Прут» и другие суда и, может быть, скоро и весь флот, лишат царя одного из могущественных орудий. Кроме того, каждый день получают сведения, что и другое, еще более сильное орудие — армия, начинает поддаваться окружающей ее революции. Если не в городах, то в деревнях, солдаты братаются с крестьянами, и, в виду этого, аграрные беспорядки будут пагубно влиять на них. Поэтому, нельзя считать всеобщее восстание невозможным до тех пор, когда вся армия встанет. Стихийная сила, чем больше ее сдвливают, тем сильнее она становится и увеличивается от самого давления. Вожакам революции остается только организовать эту силу так, чтобы нанести удар скорее, сделать время борьбы наиболее коротким, чтобы избежать напрасного кровопролития и достигнуть наибольших результатов, какие только позволят обстоятельства. Чтобы привести к такому концу, я и направляю всю свою деятельность, с тех пор, как я покинул Россию. Но меня спросят, как долго борьба может продолжаться и что получают те классы населения, которыми я наиболее интересуюсь — рабочие и крестьяне? Если царь обнаружит мудрость и предоставит народу свободу самому устроить свою жизнь, то революции можно было бы и теперь еще избежать и спасти династию для конституционной монархии. Но какое же мы имеем основание ожидать такого мудрого и мужественного шага со стороны царя? Он ни одной минуты не был вне влияния всяких Победоносцевых, Плеве, Треповых и им подобных угнетателей.

Есть еще и другой исход. Если царь не решится дать полную политическую свободу всем своим подданным, то

он может уступить часть своей власти на условии известных уступок себе и своим прежним слугам. Он может разумно распределить права и правление между различными классами населения. Этими мерами, а также основательной земской реформой, уменьшением платежей, падающих на крестьянина, уменьшением покровительственных пошлин, преобразованием администрации, он может очень ослабить оппозицию. Этим путем он приобретет поддержку высших и средних классов и смягчит озлобление крестьян. Но все это только отдалит, но не устранит революцию, так как главная поддержка революции в рабочем классе, который с неослабленной энергией будет продолжать агитацию. Земельная реформа скоро окажется несостоятельной, потому что парламент, состоящий из помещиков и купцов, убьет всякую серьезную попытку в этом направлении. Кроме того, такая политика требует наличности истинно умных и смелых государственных людей. В обещанной 6-го августа и 17 октября, так называемой конституции, не видно и следа этих качеств.

По всему этому я могу с уверенностью сказать, что борьба идет быстро к концу, что Николай II готовит себе судьбу одного из английских королей, или французского короля недавних времен, что те из его династии, которые избегнут ужасов революции, в недалеком будущем будут искать себе убежища на Западе.

עיריית חיפה
 מערכת תרבות הפנאי
 מרכז תרבות לעולים
 בית ארשטיין - ספריה
 זכס. מלאי.....

עיריית חיפה / מינהל החת"ר
 אגף לתרבות ילדים ונוער
 הספרייה הצבורית ע"ש ש. פזנדר

00'

72978/11

О Г Л А В Л Е Н И Е.

Глава		Стр.
	I. Пораженный великан — Аллегория	3
„	II. Мой родной дом	6
„	III. Я становлюсь священником	11
„	IV. Крайности встречаются в Петербурге	19
„	V. Ложные пастыри	30
„	VI. Между босяками и рабочими	35
„	VII. Я знакомлюсь с Зубатовым	45
„	VIII. Конец зубатовщины	52
„	IX. „Собрание русских фабрично - заводских ра- бочих г. Петербурга“	65
„	X. Убийство Плеве	72
„	XI. Начало кризиса	81
„	XII. Стачка разрастается	91
„	XIII. В министерстве юстиции	95
„	XIV. Последние приготовления	100
„	XV. Утро 9 - го января	104
„	XVI. Бойня у Нарвской Заставы	106
„	XVII. Первые баррикады	111
„	XVIII. Около дворца	115
„	XIX. Конец бойни	120
„	XX. Царь и его „дети“	126
„	XXI. Мой побег	130
„	XXII. На пути к свободе	135
„	XXIII. Я перехожу границу	139
„	XXIV. Будущее русской революции	143

СЕРИЯ:

ПАДЕНИЕ ЦАРСКОГО РЕЖИМА.

Выпуски:

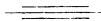
1. Показания А. Н. Хвостова
2. „ А. Д. Протопопова
3. „ Б. В. Штюмера
4. „ Кн. Андроникова
и др.



Троцкий. 1917. Уроки октября.

Троцкий. Перед судом комму-
нистической партии.

Отставка Троцкого.



Свящ. Гапон. История моей жизни.

